



М. Н. Волконский

ККК

ЗАБЫТЫЕ
ХОРОМЫ
— ○ —
ДВА МАГА

Волконский М. Н. Забытые хоромы. Два мага //Издательство «Logos», СПб., 2002
ISBN: 5-87288-237-8
FB2: "Zavalery ", 31.10.2008, version 1.0
UUID: 1e92903a-a45a-102b-b665-7cd09fa97345
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Михаил Николаевич Волконский

Забытые хоромы

Исторические события, описываемые в романе «Забытые хоромы», разворачиваются через два года после восшествия на престол Екатерины II.

Два друга – офицеры Чагин и Лысков – исполняют особое поручение российского двора, связанное с перехватом секретной почты, отправленной польским посланником в России к правительству Станислава Понятовского, и втягиваются в водоворот невероятных приключений.

Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Содержание

Мундир	0006
Лысков	0014
Бал	0021
Секретное поручение	0029
Неосторожность	0037
История Пирквица	0045
Курьерские бумаги	0055
Пан Демпоновский	0060
Распутье	0069
Комната «Кормы воздушного корабля»	0077
Молитвенник Фатьмы	0089
Две службы	0097
Ландскнехт	0105
Замок барона Кнафтбурга	0111
В лесу	0119
Старый знакомый	0127
Выстрел	0137
Клад	0143
Паркула	0152
Счастье обманчиво	0158
Пробуждение	0168
У ручья	0174
Лысков бреется	0183
Кладезь ума и сообразительности	0192
Опять вместе	0198

Гуссейн-паша	0206
Песня Фатьмы	0213
Тимбек	0219
В замке барона	0226
Приезд в Ригу	0234
Глава, пока еще не понятная	0239
Генерал-губернатор	0245
Объяснение главы тридцатой	0251

**Михаил Николаевич
Волконский
Забытые хоромы**

Мундир

Молодой князь Чагин, рассматривая свой парадный сержантский мундир, который держал перед ним, вытянув руку, старый Захарыч, проговорил: «Нет, положительно не годится».

– Да отчего же не годится? – переспросил тот. – Мундир как мундир – в прошлом годе только сделали.

Мундир был сделан, действительно, в прошлом году, когда с возвращением государыни Екатерины II после коронации в Петербург, вследствие состоявшихся в гвардии повышений, многие были переведены туда из армии и в их числе князь Чагин. Но в этом мундире он отбыл все прошлогодние смотры и парады, и мундир потерял свой щегольской, безупречный вид «с иголочки». Чагин еще раз внимательно оглядел швы, галун и пуговицы.

– Пуговицы можно почистить, – заметил Захарыч.

– Нет, все-таки не годится, – повторил Чагин, – только на дежурства надевать, а больше никуда. Ведь ты пойми: так он хорош?

– Хорош, – согласился Захарыч.

– Ну, а как я стану в нем рядом с другим, с новым – он никуда и не будет годиться... да еще на балу, где освещение полное!.. Куда же надеть?.. нет... нельзя.

Захарыч, казалось, убедился этим доводом и, молча, с некоторым уже сомнением посмотрев на мундир, тряхнул его, после чего воскликнул:

– Да что вы там потеряли на этом балу-то, ваше сиятельство? Нешто не будет еще балов?.. Дайте срок – пришлют батюшка деньги, тогда новый мундир построите, и дело с концом.

И решив, что его рассуждение вполне основательно, Захарыч свернул старый, признанный негодным, мундир и стал укладывать его в большой комод, где хранился гардероб сержанта.

Чагин был переведен в гвардию из армии, как один из бравых, видных молодых людей и, главное, самых состоятельных среди своих армейских товарищей. Но содержание, которое ему высылал отец из деревни, более чем достаточное в провинции, оказалось весьма

незначительным в столице, где велась и требовалась совсем другая жизнь. Однако старый князь не хотел увеличивать выдаваемую сыну сумму и объявил ему, что до производства в офицерский чин пусть он оборачивается этими деньгами, а когда будет произведен, тогда, мол, пойдет другой разговор.

Между тем дальнейшего производства трудно было ожидать в скором времени. По спискам Чагин, как один из младших, стоял далеко, и очередь до него должна была прийти еще не скоро. На отличие надеяться тоже было нельзя, потому что время отличий и внезапных быстрых повышений только что миновало. К тому же такое время выдается не часто, и именно потому, что оно выдалось так недавно, ясно было, что теперь более, чем когда-нибудь, наступит застой. Государыня успела уже выказать себя мудрой правительницей, считавшей необходимым обеспечение мира для устройства внутренних дел, и войны, по-видимому, еще долго не должно было быть.

Два года тому назад, в июне месяце, произошли те счастливые, из ряда вон выходя-

щие обстоятельства, когда выделилось столько гвардейцев: государыня Екатерина II взошла на престол; многие получили при этом повышения и отличия, и теперь все места были заняты недавно произведенными новыми людьми, еще довольными своим положением, и не мечтающими пока о высшем. Значит, движения не предвиделось. Молодой Чагин опоздал со своим переводом в гвардию. Будь то два года тому назад, он получил бы уже офицерский чин.

А сколько надежд, сколько мечтаний было связано для Чагина с этим чином! Тут не обещание отца, не деньги стояли на первом месте. Дело шло о гораздо более существенном, милом, дорогом и заветном.

До сих пор все улыбалось в жизни Чагина, и главным образом потому, что то, что составляло для него теперь высшую радость счастья, весь, как он думал, смысл жизни, было у него. Те мелкие неприятности, которые приходилось переносить, когда не хватало денег, были чувствительны, только пока не проходили и, миновав, становились незаметными. Они легко забывались; и деньги все-таки бы-

ли, хотя й не в той мере, как надобно, но были и позволяли жить беззаботно.

И Чагин торопился жить – торопился потому, что счастливые дни, которые он переживал, несомненно, служили началом еще более счастливого времени, когда он наконец будет произведен в офицеры и начнет настоящую жизнь.

Эта настоящая жизнь заключалась в женитьбе на давно любимой, с детства знакомой и близкой Соне Арсеньевой. Они детьми играли вместе в Москве, где проводили зиму, и впоследствии дороги их разошлись.

Теперь Соня была уже девушка девятнадцати лет, воображавшая, что она – совсем невеста. В прошлом году вместе с двором привезла ее в Петербург тетка, важная барыня, у которой не было детей и которая, полюбив хорошенькую племянницу, стала заниматься ею и вывозить в свет.

Став светской барышней, Соня встретила Чагина, и он, сначала боявшийся за свое счастье, скоро увидел, что бояться ему нечего, что они по-прежнему любили, знали и понимали друг друга. Но «сержанту» неловко было

делать предложение, приходилось ждать и торопиться как можно скорее прожить эти годы влюбленности, молодости и ожидания.

Чагин не мог еще узнать по опыту, что именно эти годы, которые, как ему хотелось, должны были бы протечь возможно скорее, в сущности, представляли собой самые счастливые, невозвратные годы человеческой жизни. Ему почему-то казалось, что с наступлением страстно ожидаемой настоящей жизни не только заботы не увеличатся, но их вовсе не будет, и начнется бесконечный период непрерывного счастья. Тогда уже никаких задержек ни в чем не окажется: ни в поношенном мундире, ни в деньгах – словом, ни в чем, ни в чем.

«А все-таки мундир не годится, – мысленно уже с отчаянием повторял Чагин, зашагав по комнате и косясь на возившегося у комода Захарыча. – Легко ему говорить, – продолжал он думать, – не ехать... Да разве можно не ехать, разве это мыслимо? Но ведь так не поедешь, а другого мундира нет, да и достать денег на него неоткуда!»

И вдруг Чагину стало чрезвычайно жаль

себя. В самом деле, положение было почти безвыходное: казалось, лучше умереть, чем не ехать на бал, и вместе с тем было тоже лучше умереть, чем ехать, потому что приходилось надевать мундир, который никак нельзя было надеть.

В первую минуту жалости к себе Чагину захотелось «все» рассказать Захарычу: и почему он непременно должен ехать на бал, и почему ему так тяжело не сделать этого, и главное, чтобы не подумал Захарыч, что ему хочется просто потанцевать, как какому-нибудь молокососу.

Но этот прилив жалости сейчас же пропал, и его сменила бешеная злоба и на себя, и на других.

«И с чего выдумали в сентябре балы назначать! – злобно стиснув зубы, продолжал опять Чагин свои размышления, – подождать не могли!.. Нужно очень... И как это все у меня было хорошо рассчитано!»

У него, действительно, все «очень хорошо было рассчитано», то есть ему казалось это так, потому что он решил заказать себе новый мундир с первым же получением денег

от отца, вполне уверенный, что поспеет к началу сезона. Однако оказалось, что петербургское общество, со смерти императрицы Елизаветы не веселившееся, торопилось воспользоваться временем, следуя примеру вдруставшего блестящим двором молодой красавицы-государыни. Первый заметный бал был назначен уже в сентябре. На этом балу (Чагин знал это) будет Арсеньева, значит, во что бы то ни стало и ему нужно было быть там.

И вот, не находя выхода из своего «отчаянного» положения, Чагин схватил трость, шляпу и, накинув плащ, вышел на улицу.

У крыльца его ждал постоянный извозчик, которому он был уже порядочно должен, вследствие чего считал своей обязанностью ездить с ним каждый день и больше, чем это ему было нужно.

– Пошел к Лыскову! – приказал он извозчику, усаживаясь на его почему-то считавшийся удобным в то время калибер.[1]

ЛЫСКОВ

Лысков, подпоручик того же полка, в котором служил теперь Чагин, был по отношению к юноше, переведенного из армии, чем-то вроде покровителя, друга и приятеля.

Чагин сошелся с ним более, чем с другими, именно потому, что их характеры оказались совершенно различны. Живой от природы, впечатлительный, вспыльчивый и благодаря своей молодости легко увлекающийся, Чагин очень скоро привязался к старшему по годам, невозмутимо спокойному Лыскову, и между ними установилась та неравная, но именно вследствие своей неравности твердая дружба, при которой один позволяет питать к себе преданность, а другой – ищет предмета для выражения этой преданности. Лысков стал для Чагина чем-то высшим, образцом для подражания, и тот, в свою очередь чувствуя симпатию к молодому, доброму, порядочно-малому, опекал его, где нужно, и руководил по возможности в новой для Чагина гвардейской столичной жизни.

Лысков лежал у себя на кровати, закинув

за голову руки, без камзола, в одной рубашке и мрачно, сосредоточенно смотрел в потолок, когда явился к нему Чагин.

Тот, уже отлично знавший привычки и обычаи своего друга, сейчас же понял, что это значило.

При его приходе Лысков нахмурился, но Чагин и это знал, и знал, что, в сущности, его друг и ментор очень доволен его приходом. Только нужно было оставить его в покое, и он сам заговорит.

И Чагин, молча поздоровавшись, как давно привычный человек, положил шляпу и трость, достал в углу трубку, закурил ее в печке и сел у окна, поджав ногу. Положение его усложнялось. Лысков, видимо, находился сам в крайне неприятных обстоятельствах, при которых трудно было ждать от него помощи.

«Скверно, скверно! – повторял себе Чагин, пуская большие клубы дыма. – И чего я пришел сюда?»

Но уйти ему не хотелось, потому что во всяком другом месте ему было бы еще хуже.

Лысков в это время скинул ноги с кровати, прошел тоже к углу с трубками, закурил и

стал ходить по комнате.

– Это ни на что не похоже! – вдруг обернулся он к Чагину.

– А что? Опять проиграл? – спросил тот.

– Нет, ты представь себе, этакое счастье... ни одного удара... то есть ни одного хорошего удара... Как на зло словно – маленькую даст, большую бьет, маленькую даст, большую бьет... И так весь вечер!..

– Где же это ты? У Дрезденши?

– Нет, этак не везти, я тебя спрашиваю! – вскинув плечами, снова подхватил Лысков, не обращая внимания на вопрос. – Этого со мной никогда не бывало, и, как нарочно, совсем незнакомый...

Чагин поднял брови.

– Кто же такой?

– Поляк какой-то, Демановский, Депановский, что-то в этом роде.

– Невысокого роста, черноглазый? Это – Демпоновский, я его видел у Дрезденши. Он, говорят, в свите Ржевутского приехал.

– Какого Ржевутского?

– Нового посла польского, которого Понятовский прислал, – пояснил Чагин. – Теперь

поляки в моде, их всюду зовут... И у Трубецкого на балу они будут...

О приезде Ржевутского Лысков, понимает-ся, слышал, но забыл о нем, его теперь не интересовали ни бал Трубецкого, ни польское посольство.

– Говорят, много народу будет, – продолжал Чагин, думавший все еще о своем. – И что за охота в сентябре балы назначать!

Лысков снова не ответил; он продолжал мрачно ходить, усиленно затягиваясь, причем переменял уже вторую трубку.

– Нужно денег доставать, – опять вдруг проговорил он. – А где их достанешь?

Чагин понял, что положение приятеля еще более скверно, чем его собственное. Он не ожидал, что в довершение неудовольствия проигрыша у Лыскова не оказалось достаточно денег для расплаты.

– Так ты еще должен остался; – с нескрываемым беспокойством спросил он.

– И прескверно должен. У меня не хватило двухсот рублей, а в кармане было шестьдесят три, пятьдесят раньше спустил... И какую рожу этот поляк скорчил, когда я ему сказал «до

завтра»!.. Бррр... – и Лысков, словно от обдав-шего его холода, дрогнул плечами при этом воспоминании.

Чагин, не спрашивая, понял, что деньги выигравшему сегодня посланы не были и до-стать их Лысков не мог.

– Скверная история! – процедил он.

– Еще бы не скверная! В таких случаях обыкновенно ничего уж не отвечают, ведь не украду же я его денег? А он мне начал читать наставление, что, дескать, пожалуйста, не за-держите, потому что я скоро должен обратно ехать в Варшаву... Точно боится, что не от-дам... Ужас, что такое!

– Нужно сделать что-нибудь, – согласился Чагин. – Конечно, так нельзя оставлять... Вот и мне деньги нужны...

Лысков обернулся на него.

– А тебе на что?

– Новый мундир к балу. В старом нельзя, потому что, если рядом со мной другой ста-нет, то заметно будет, – поспешил Чагин при-вести довод убедивший Захарыча.

– Пустяки! – махнул рукой Лысков с видом человека, ожидавшего сначала, действитель-

но, чего-нибудь серьезного, но вполне разубедившегося в этом.

– Как пустяки? Все-таки мне необходимо быть у Трубецких.

– Ну, пригласи портного, закажи ему, ничего не говоря, новый мундир, а когда он принесет его, назначь срок уплаты, когда появятся деньги... Портной тебе за это припишет к счету и останется очень доволен.

«В самом деле, как это просто! – подумал радостно Чагин. – Да, да, конечно, это очень просто!»

– И ты думаешь, что так можно сделать? – спросил он.

До сих пор в армии и здесь, в прошлом году, он задолжал лишь по мелочам, из которых, однако, составлялись суммы, но большие расходы делал на наличные.

Лысков, несмотря на свое расположение духа, не мог удержать улыбку от наивного вопроса Чагина. И, усмехнувшись в усы, он еще раз махнул рукой на него и медленнее заходил по комнате.

Невольная искренняя радость, осветившая теперь лицо Чагина, старавшегося, однако,

остаться серьезным, особенно успокоительно подействовала на Лыскова.

Пройдясь еще раза два по комнате, он внезапно пришел в свое обыкновенное состояние ленивого покоя и опустился на кровать, опять закинув руки за голову, но только теперь во взгляде его не было ничего мрачного.

– Так ты думаешь, устроишься? – почти уже весело спросил Чагин, не столько про свое, сколько про дело приятеля.

Он знал, что при каждой неприятности Лысков обыкновенно сначала ложился на постель очень мрачный, но затем мало-помалу словно махал рукой на все, решив, что оно устроится само собой, и отлеживался до тех пор, пока, действительно, все выходило так, как ему этого хотелось. И обычно всегда все устраивалось.

– Устроишься! – протянул Лысков и, вскинув ноги, поправил ими сбившийся край одеяла.

И, как ни в чем не бывало, они заговорили о предполагавшемся смотре.

Бал

Оказалось, что, к удивлению Чагина, портной не сделал никакого затруднения относительно мундира. Он принес его в срок, и молодой человек в назначенный день, разодетый, надушенный и распудренный, явился у Трубецких на балу в числе бесконечной щеголеватой толпы гостей, тесно наполнявшей анфиладу парадных освещенных комнат.

Музыка в зале играла не прерываясь, и один танец сменялся другим.

Чагину казалось, что все веселится, все радуется вокруг него, потому что самому ему было весело и радостно на душе.

Несмотря на то, что он по своему маленькому чину и скромному положению в обществе не мог слишком привлекать внимание, ему все-таки казалось, что на первом месте был не кто иной, как он, потому что та, которая была лучше всех – для него, по крайней мере, никто не мог равняться с нею, – танцевала с ним, улыбалась ему и рада была его близости. Никто, казалось, не попадал так ловко, согласно в такт музыки, как они, и ни

ему, ни ей ни с кем не было так весело танцевать, как друг с другом.

Чагин, без устали плясавший все время, вышел освежиться из зала, когда наконец наступил антракт. Беспрестанно давая дорогу другим, пятясь от длинных шлейфов дамских роб и оглядываясь, чтобы не толкнуть кого-нибудь, он старался выбраться из этой толпы, чтобы вздохнуть, оправиться и снова идти искать свою Сою.

Чем дальше он продвигался от зала по ряду роскошно убранных комнат, тем реже становилась толпа в них и тем свободнее дышалось, хотя и здесь жара и духота стояли нестерпимые от горевших в люстрах и бра свечей и от массы толпившегося надушенного и напوماженного народа.

Наконец Чагин мало-помалу выбрался к небольшой проходной диванной, расположенной перед кабинетом хозяина, где мужчины играли в карты. Диванная казалась пустой. Здесь воздух был свежее.

Чагин подошел к двери, стараясь незаметно для других провести платком по разгоряченному мокрому лбу. Отняв платок от глаз,

он увидел в глубине диванной знакомую широкую спину Лыскова, разговаривавшего с приземистым, коренастым господином в маскарадно-красивом костюме польского офицера.

Поляк был пан Демпоновский. Чагин узнал его, удивился, зачем приехал сюда Лысков, вообще не любивший балов и почти никогда на них не бывавший, и вспомнил, что с Лысковым и с этим поляком соединено было что-то неприятное, неловкое, совсем идущее вразрез с теперешним его счастливо-радостным настроением. Ему было так хорошо, так весело теперь, он чувствовал себя любимым и сам так любил, что ему хотелось верить, что везде и всюду одна лишь любовь кругом и нигде нет никаких недоразумений и неприятностей.

И несмотря на то, что инстинктивно боясь расстроить свое внутреннее состояние радости и довольства, Чагин, по безотчетному эгоизму счастливого человека, хотел пройти мимо, но все-таки остановился, чтобы узнать, чем кончится объяснение.

«И зачем он приехал сюда? Нарываться на

неприятности? – подумал он про Лыскова, с которым еще вчера в сотый раз подробно разбирали все источники, откуда можно было достать деньги, причем они должны были прийти к грустному заключению, что достать их нельзя, – он наверное знал, что у Лыскова теперь не могло быть никоим образом двухсот рублей».

– Я вас просил, – говорил между тем пан Демпоновский, сильно жестикулируя и коверкая на русский лад польский язык, – на другой день достать пенендзы затем, что я спешаю до вояжу, а пан и не помыслил о тэм – и мялэм тэ ж слово паньске и мнил то верно... а выходьзе кэпска штука... Тэраз на завтра конечно должен ехать и не вем, проше пана, чи буде плата, чи не...[2]

По тону, которым говорил поляк, по его энергическим жестам и по закинутой слегка назад голове видно было, что он ни на минуту не поверил и теперь не верит, что ему заплатят деньги, и потому казался и хотел казаться особенно дерзким и высокомерным.

Чагин знал Лыскова. Он чувствовал, что еще немного и тот, не выходя из обычного

своего спокойствия и, вероятно, совершенно неожиданно для поляка, треснет его наотмашь так, что тому не поздоровится... Выйдет неприятность еще большая.

«Господи, – мысленно повторял себе Чагин, – и отчего у меня нет этих денег, отчего я не могу швырнуть их этому пану Демпоновскому!»

И казалось, в эту минуту он уже готов был все отдать, всем пожертвовать, чтобы выручить друга из беды, чтобы избавить его от этого оскорбительного унижения выслушивать дерзкие речи поляка.

Теперь он на миг забыл, то есть не забыл, а как-то спрятал, захлопнул внутри себя свое чувство робости и всей душой принимал участие в том, что происходило на противоположном конце комнаты, и каждое слово пана Демпоновского отзывалось в нем так же болезненно, как оно должно было отзываться в Лыскове.

Последний стоял, не двигаясь, и, казалось, терпеливо ждал, пока поляк выскажет весь запас своих любезностей.

Чагину досадно было, что он не видит ли-

ца друга и поэтому не может судить, что произойдет дальше. Но подойти он боялся, чтобы не ускорить развязки.

– Пожичил пан овчину, а вышло тепло его слово![3] – закончил Демпоновский и развел руками, опустив голову.

В это время Чагин видел, как Лысков, не меняя своей спокойной позы, засунул руку в карман, медленно вытянул ее оттуда и к несказанной радости и удивлению Чагина в этой руке оказался кошелек, видимо, довольно увесистый...

Лысков, по-прежнему молча, раздвинул кольца кошелька и стал отсчитывать деньги.

Чагин вздохнул свободно.

«Ну, слава Богу! – мысленно произнес он. – Но откуда он достал их?»

Демпоновский, увидав деньги, сейчас же сконфузился, сделался как будто меньше ростом, и лицо его все съежилось в сладкую-пресладкую улыбку. Он забормотал что-то тихое, непонятное и беспрестанно повторял:

– Овшем, пане, овшем.[4]

Отсчитав, Лысков протянул деньги поляку,

и слышно было, как они звякнули в его руку, потом повернулся спиной к нему и направился к двери.

Все это он проделал с таким хладнокровием, с такой величественной невозмутимостью, что Чагину казалось – хоть картину с него пиши.

– Лысков, Лысков! – окликнул он его. – Ты какими судьбами на балу?

– А, брат, – сказал Лысков, – тебя-то мне и нужно. Я давно ищу тебя.

– Я был в зале все время... Послушай, откуда у тебя деньги? – понижая голос, спросил Чагин, как только они отошли от диванной, где остался поляк со своими двумястами рублями в руке.

– Тсс... тише... – остановил его Лысков, – сейчас расскажу все... Мы едем сегодня ночью...

– Кто мы, куда едем? – удивился Чагин.

– Ты и я должны ехать, а куда, я тебе сейчас расскажу... Только на людях нельзя... Пойдем сюда!

И они, выйдя из парадных комнат в коридор, направились на другую сторону дома, где

был выход на террасу и в сад.

Секретное поручение

Сентябрьский вечер был настолько свеж, что в комнатах, где окна хотя и не были заделаны на зиму, не решались поднять их, во избежание простуды дам, бывших в открытых робах.

Но многие из мужчин вышли, как были, освежиться на террасу. Чагин с Лысковым встретили среди них нескольких знакомых и, поздоровавшись с ними, миновали террасу и спустились в сад.

Лысков шел впереди большими шагами, мягко ступая по ковру листьев, толстым слоем устлавшим дорожку аллеи. Он, видимо, выбирал место, где бы их никто не мог ни увидеть, ни подслушать.

– В чем же дело? – спросил Чагин, когда они, отойдя в глубь сада, остановились наконец.

– Вот видишь ли, – начал Лысков оглядываясь, – сегодня командир призвал меня утром к себе и объявил, что есть серьезное дело. Завтра польский посланник отправляет с бумагами курьера. Едет один из офицеров его

СВИТЫ...

– Так, – подтвердил Чагин, силясь уже предугадать и понять, в чем дело, но ничего еще не предугадывая и не понимая.

– Ну, и эти бумаги нужно получить во что бы то ни стало.

Теперь Чагин сразу понял все.

– Лысков, голубчик! – начал он почти задыхаясь от обуявшего его восторга. – Ведь это значит поручение, то есть такое поручение, в случае исполнения которого можно надеяться на... офицерские эполеты!..

– А ты как думал! – подтвердил Лысков, и по голосу его слышно было, как он улыбался в темноте радости своего друга.

– И мы сегодня же едем? – спросил тот.

– Сегодня же ночью. Нужно постараться встретить и поймать поляка на перепутье.

– И как же? – продолжал спрашивать Чагин. – Командир прямо так и назначил меня?

– Он мне сказал, чтобы я взял себе помощников по своему выбору.

– И ты позвал меня?

– И я позвал тебя.

– Ты говоришь, однако, «помощников»;

значит, еще с нами поедет кто-нибудь?

– Велено втроем.

– Кто же третий?

– Не знаю еще... нужно будет дурака какого-нибудь сыскать.

– То есть как это дурака? Зачем же дурака?

– А чтобы он не мешал, а слушался. Умный соваться будет, куда его не спрашивают, и дело испортит.

– Послушай, Лысков, – сказал Чагин, – ты «кладезь неисчерпаемой премудрости».

В это время со стороны дома слабо донеслись призывные звуки оркестра, означавшие, что танцы снова начались.

Чагин не выдержал и двинулся.

– Так сегодня ночью... В котором часу? – спросил он, чтобы кончить разговор, потому что Соня Арсеньева, с которой он должен был танцевать, уже, наверное, ждала его.

– После ужина приезжай прямо ко мне; я распоряжусь насчет лошадей и Захарычу велю все приготовить. Тебе бы, пожалуй, лучше выспаться перед дорогой...

По тону Лыскова ясно было, что он шутит; разве мог Чагин думать о сне теперь, когда

действительность была лучше всякого сна?

– Пошел вон! – махнул он рукой на Лыскова, почти бегом направляясь к дому.

– Чагин, только смотри, никому ни слова! – уже серьезно произнес ему вслед Лысков.

Танцы начались, когда Чагин влетел в зал и, уже ничего не помня от восторга, бесцеремонно расталкивал толпу, пробираясь к месту, где должна была ждать его Арсеньева.

Он уже издали заметил ее. Она стояла, беспокойно помахивая закрытым веером, и оглядывалась по сторонам, видимо, с нетерпением ожидая своего кавалера. Для нее, хорошенькой и милой Сони Арсеньевой, неприлично и неловко было стоять так в бездействии, когда кругом все танцевали.

Должно быть, у Чагина было очень испуганное и взволнованное лицо, потому что она не могла сдержать улыбку, когда заметила, наконец, его невероятные усилия пробраться к ней сквозь толпу. В этой улыбке было уже прощение за то, что он опоздал.

– Я не мог раньше... я не мог, – силился выговорить он, добравшись наконец до Сони, – я, право, не мог...

Она улыбнулась еще раз и, кивнув ему головой, протянула свою маленькую, тонкую, худую, точеную руку. Он с замиранием сердца, как всегда, коснулся этой руки, и они вошли в круг танцующих.

– Ну, теперь говорите, отчего вы опоздали! – спросила Соня, когда они проделали свои па и до них дошла очередь отдыхать.

Чагин чувствовал, как сильно билось его сердце. Он не пришел еще в себя от той подавляющей массы счастья и радости, выпавшей на его долю сегодня вечером. Он был рядом с Соней, был один рядом с ней в этой толпе и мог не только наслаждаться сознанием этого одиночества, но испытывал еще другое – еще более счастливое – сознание того, что так недавно казавшиеся отдаленными мечты могут быть близки к осуществлению. Получение офицерского чина, с которым было связано исполнение заветных желаний Чагина, вдруг стало из далекого, неопределенного близким и возможным, до того близким, что стоило лишь достать бумаги курьера – и эполеты, а с ними вместе и желанная свадьба становились несомненными.

Как это все будет, то есть как он достанет эти бумаги, Чагин не знал, но он не сомневался в том, что достанет; такую силу, мощь и энергию чувствовал он теперь в себе. Голова его кружилась, грудь задышалась от счастья, он готов был выйти один против целой армии. Он не помнил ничего.

– Я не мог прийти раньше, – повторял он Соне, – но если бы вы знали, почему я не мог сделать это!

Она взглянула на него, стараясь понять главную причину его восторженного состояния, угадывая инстинктом любви, что не исключительно она, любимая им, была виновницей этого состояния.

– Что с вами? – спросила она опять.

– Что со мною? Да то, что я счастлив так, как только может быть счастлив человек. Я вам не скажу всего, но только теперь вы можете быть спокойны... То есть не спокойны... Господи... словом... все идет очень, очень, очень хорошо!..

– Ничего не понимаю, – сказала Соня.

– Я буду на днях... скоро, скорее, чем можно было этого ожидать, офицером! – вырва-

лось у Чагина почти неволью.

Арсеньева с нескрываемым удивлением вскинула на него глаза, не зная, шутит он или нет.

Этот ее неожиданный удивленно-радостный взгляд чуть не заставил Чагина захлебнуться от счастья. Не было уже сомнения, что и Соня ждет его производства и она готова радоваться, как и он, вместе с ним, если это правда.

– Я не шучу, – сказал он, – это правда.

– Но как же это? Как? Говорите! И я хочу знать и радоваться, – заговорила Соня не словами, но взглядом и всем существом своим.

– Завтра идет польский курьер с письмами, мне поручено достать эти письма, – сам не зная как, ответил Чагин.

– Нам начинать, – шепнула в это время просиявшая Соня, и, поняв сейчас же всю важность возложенного на ее кавалера поручения, она, гордясь им и собою, победоносно закинув хорошенькую головку, снова вошла рука об руку с ним в круг танцующих.

«Ну, что ж такое, что я сказал ей? – думал Чагин, выделявая свои па, – ну, что ж такое?..»

Ведь она же никому не станет рассказывать... Конечно!.. И потом все так идет хорошо, что ничего не может и не должно быть дурно... Да, все хорошо... И хорошо, что я сказал ей».

И, взглянув на оживленное, с блестящими глазами, лицо любимой девушки, он окончательно убедился, что нельзя было, что слишком было жаль не поделиться с нею радостной вестью.

Неосторожность

Однако, едва кончили танцевать и Чагин оставил руку Сони, откланявшись ей и отойдя в сторону, как ему пришлось раскаяться в своей неосторожности.

– Вот как, князь? – услышал он за собой знакомый, неприятный голос. – Вы получаете серьезные поручения перехватывать польские бумаги?.. Поздравляю вас...

Чагин обернулся. Сзади него стоял бывший его сослуживец по армии, переведенный почти одновременно с ним, но в другой гвардейский полк, прапорщик Пирквиц.

Чагина точно холодной водой обдало.

– Только знайте, – продолжал Пирквиц, – когда получают такие поручения, о них не говорят на балу с дамами.

Чагин, побледневший в одно мгновение при первых словах Пирквица, почувствовал, как вдруг вся кровь словно прилила ему к голове.

– Так вы... так вы подслушали? – задыхаясь, едва выговорил он.

Этот Пирквиц давно, всегда, с тех пор как

Чагин узнал его, был ему антипатичен. У них еще по прежнему месту служения были конторы, и, видимо, Пирквиц не только не забыл этих старых счетов, но находил особенное теперь удовольствие видеть смущение, а может быть, и испуг Чагина, находившегося в данный момент в его руках.

– Я ничего не подслушал, – спокойно, но внушительно строго ответил Пирквиц, – вольно же вам было говорить так громко, что я, стоя сзади вас, все слышал... Пеняйте сами на себя...

На этот раз Пирквиц был прав и как бы наслаждался этой правотой, как человек, которому в редкость такое наслаждение.

Чагин чувствовал это, а вместе с тем и все свое бессилие загладить свою непростительную оплошность.

– Послушайте, – сказал он Пирквицу, – надеюсь, что вы хоть не будете рассказывать это дальше.

Тот пожал плечами.

– С какой же стати я буду хранить ваш секрет, когда вы сами не заботитесь о его сохранении?

«Ток, ток! – стучало, как молот, в голове Чагина. – Он мстит мне за прежнее... Боже мой, что я наделал, что я наделал!..»

И ему вспомнилось то время, когда Пирквиц так же вот стоял перед ним растерянный и ждал от него решения своей участи. Было такое время. Чагин тогда пощадил его, и с тех пор Пирквиц возненавидел его. Теперь очередь торжествовать была за Пирквицем, и он, видимо, не желал поступиться своим торжеством.

«Да и расскажу, непременно, всем расскажу, – говорила его насмешливо-задорная улыбка, – и ничего ты со мной не сделаешь!»

– Но ведь это же ужасно, это бесчеловечно! – проговорил в отчаянии Чагин.

– Это было с вашей стороны легкомысленно, и вы ответите за свое легкомыслие!

За разглашенную правительственную тайну, действительно, можно было ответить. Но не это главным образом было мучительно – для Чагина от успеха предприятия зависело счастье его жизни, оно казалось таким близким, и вдруг он вместо того, чтобы воспользоваться благоприятным случаем, сразу не

только пресек себе возможность к этому, но совершенно испортил доверенное ему дело.

Что было делать? Убить этого Пирквица, убить себя... уничтожить все и всех?.. В голове Чагина мутилось, в глазах заходили зеленые круги, пол шатался под ногами; он хотел что-то сказать, но губы не повиновались ему. Однако он сделал над собой усилие и заставил себя опомниться. Он знал уже, что сказать Пирквицу: он хотел сказать ему, что это вздор, что он не едет, что он похвастал, и затем пойти к Лыскову, рассказать ему все и отказаться от поездки. Но, когда он открыл глаза, Пирквица уже не было возле него.

Чагин, за минуту еіне перед тем бывший на высоте счастья, чувствовал теперь себя самым жалким, самым несчастным человеком.

«Боже мой! – думал он, пробираясь через толпу и терпеливо оглядывая всех, чтобы найти Лыскова, – какой я ничтожный, пропащий человек! Теперь ведь все погибло, все... все!»

И ему казалось, что не только все погибло, но что и сам он погиб безвозвратно и никогда уже не сделаться ему, как прежде, веселым и

счастливым, что он так и останется погибшим навсегда.

– Лысков, Лысков! – заговорил он наконец сдавленным шепотом, завидев приятеля. – Лысков, ты не уехал еще! – и, пробравшись к нему, он теребил его за рукав и все повторял в отчаянии: – Лысков, голубчик, что я надеялся!

– Что с тобой? – удивился тот, слегка отстраняясь.

– Поди, пойдем... мне надо сказать тебе.

Они прошли в коридор.

Тут Чагин, прерываясь и погоняя слова, бессвязно рассказал все случившееся.

– Глупо! – задумчиво произнес Лысков, когда приятель кончил. – Что же теперь делать?

– Одно средство – мне отказаться от поездки, и тогда, если Пирквиц будет рассказывать, все увидят, что он врет...

– Глупо! – повторил Лысков.

– То есть что глупо? – переспросил Чагин, не только подавляя в себе горечь обиды, но готовый сам себя ежеминутно называть глупцом и дураком.

– Средство твое глупо; во-первых, если эта

дрянь Пирквиц (я знаю его) станет рассказывать, что ему известно о посылке за бумагами, то, поезжай я один – ясно будет, что проболтался я, а главное – отпущено по двести рублей на брата; я думал, что нам двухсот хватит вдвоем, и заплатил свои двести поляку. Теперь кого ни возьми – подай ему деньги, а откуда я их достану?

– Ну вот, я говорил, что все пропало! – упавшим голосом произнес Чагин (ему казалось, что он не только говорил это Лыскову, но даже убедил его в этом). – Я говорил, что все пропало!..

– Слушай! – начал вдруг Лысков, помолчав. – Другого, кроме тебя, я все-таки не возьму, потому что другой, кроме всего, может также, как и ты, сделать еще новую глупость, и тогда уже не вывернешься; ты теперь проучен, и, помни это, теперь слушаться... Понимаешь? Постарайся загладить вину!..

«Да он с ума сошел! – мелькнуло у Чагина. – Он рассуждает, когда на самом деле все пропало, все!»

– Поезжай сейчас домой, – продолжал между тем Лысков, – пошли Захарыча в казармы

за лошадьми для нас, для него и для моего денщика Бондаренко, заberi вещи, отправляйся ко мне и жди меня там! Когда Захарыч придет с лошадьми, вели ему и Бондаренко вести их в Ямбург и там накормить до нашего приезда. Для нас приедет подвода из полка. До Ямбурга мы поедем на ней, а дальше верхом. Скажи Захарычу, чтобы не копался. Им нужно часа за четыре быть до нас в Ямбурге, чтобы дать лошадям вздохнуть...

Чагин почувствовал, как его колени и нижняя челюсть задрожали.

– Так ты думаешь, что мы все-таки можем ехать? – проговорил он.

– Ступай, брат, и делай, что тебе велят! – перебил Лысков. – Самому мне теперь нужно здесь остаться... Так помнишь, что нужно сделать?

Серьезный тон и нахмуренное лицо Лыскова подействовали на Чагина.

– Ехать домой, – проговорил он, оживляясь, – Захарыча – за лошадьми. Отослать его с Бондаренко в Ямбург. Они должны там быть за четыре часа до нас. Накормить. Мне быть готовым к отъезду и ждать у тебя... Кажется,

все?..

– Все. А мазурку ты опять должен танцевать с Арсеньевой?

Чагин весь вспыхнул и потупился.

– Да, с нею, – чуть внятно произнес он.

– Хорошо. Так я предупрежу ее, что ты не можешь, и извинюсь под каким-нибудь предлогом.

«Нет, положительно, этот человек удивительный, из ряда выходящий, – уходя, думал Чагин про Лыскова. – Но неужели еще не все погибло и я могу быть счастлив?»

История Пирквица

Несмотря на то, что Чагин исполнил с самой тщательной аккуратностью все, что требовал от него Лысков, – отправил лошадей, захватил вещи и ждал его, вполне одетый в дорогу, – ему все-таки казалась подозрительной уверенность приятеля, с которой тот делал ему свои распоряжения.

С тех пор как он оставил освещенный, залитый огнями зал, ему казалось, что действительность перешла в сновидение, что этот бал и испытанное в начале вечера ощущение полного, непостижимого счастья были где-то и когда-то очень давно и прошли, миновали бесследно, невозвратимо.

Он ходил по слабо освещенной одной сальной свечкой комнате Лыскова и напрасно силился привести в порядок свои спутавшиеся, разбросанные мысли.

«Что я наделал? – думал он. – Да, Лысков говорит, что мы все-таки поедем... Неужели это правда и правда, что я не испортил дело окончательно? Господи, если бы все было хорошо, как бы я был рад!.. Но нет, это невоз-

можно... Не забыл ли я чего? Нет, все здесь... Неужели, однако, это возможно?»

Но оказывалось, что «все это» было по-видимому, возможно. Захарыч с Бондаренкой уехали. Затем под окнами раздался по бревенчатой мостовой стук колес подъехавшего к крыльцу экипажа. Чагин выглянул в окно. Это была бричка, присланная для них из полка. Наконец явился и сам Лысков.

– Ты готов? – торопливо, на ходу спросил он и, не давая времени Чагину для вопросов, стал быстро, в свою очередь, переодеваться для дороги.

В этой поспешности Лыскова и в его переодевании заключался главный ответ для Чагина, то есть это значило, что они все-таки едут, что никакой задержки не встретилось и что Лысков каким-то сверхъестественным образом разобрался с Пирквицем, исправив, должно быть, неосторожность Чагина.

– И сапоги смазаны! – говорил Лысков, ловко и умело справляясь при помощи Чагина с довольно сложными мелочами офицерского обмундирования. – Это ты приказал? Отлично! Пистолеты заряжены, а? Натру, давай сю-

да!.. Трубку, братец, захвати! Как же без трубки?.. Ну, едем... едем, пора!

Однако Чагин успокоился окончательно все-таки лишь тогда, когда они уселись в бричку и она запрыгала по мостовой, трясясь и вздрагивая на каждом бревне.

– Как же ты все устроил? – спросил наконец Чагин, когда они выехали уже за город.

Лысков сидел, закутавшись в плащ, в темном углу брички.

– С кем устроил? – переспросил он.

– А с Пирквицем? Он нам не помешает?

– Нет, не помешает.

– Как же ты сделал, однако?

– Очень просто. Если кто-нибудь узнал о твоём деле, которого никто не должен знать, то есть одно средство, чтобы он не разболтал дальше.

– Какое же?

– Сделать его своим сообщником. Нам велено было ехать втроем перехватывать бумаги поляка. Ну, вот я и позвал этого Пирквица третьим.

– А он не продаст?

– Не думаю. Впрочем, если дело удастся, на-

града, пожалуй, выпадет слишком значительная, чтобы не польститься на нее. К тому же я доложил командиру, кто едет со мной... Если Пирквиц выдаст, он же должен будет отвечать... Двести рублей я ему вручил.

– Послушай, Лысков, – перебил Чагин, – ты, правда, молодец!.. А Пирквиц не испортит дела? – нерешительно добавил он, помня и мучаясь еще собственной неосторожностью.

– Ну, и испортит! И мы можем испортить... Все зависит от обстоятельств... всего не предусмотреть. Что бы ни случилось, значит, так тому и должно быть.

«Нет, ты вот не испортишь!» – подумал Чагин с некоторым восторгом про Лыскова, но не сказал этого вслух, а только спросил:

– Так ты ему назначил, что делать? Он, как и мы, тоже сегодня выедет?

– Он будет действовать самостоятельно между Петербургом и Нарвой. Мы поедем дальше. Если ему не удастся, тогда будет наша очередь. Всем троим не имело смысла. Нужно встретиться с курьером поодиночке и попытаться сделать что-нибудь.

– Значит, у Пирквица первое место?

– Значит, у Пирквица первое место! – повторил Лысков. – Нужно же было кому-нибудь уступить его...

– Ну, а мы-то что будем делать?

– Ну, там увидим, смотря по обстоятельствам. Главное, нужно постараться, чтобы встретиться с нашим Демпоновским.

– С паном Демпоновским? Так он-то и едет курьером?

– Да.

Чагин почувствовал, что вдруг его начинает душить неудержимый смех.

– Ты чего? – окликнул его Лысков.

– Да как же... деньги-то, которыми ты заплатил ему, – ведь они были выданы по поводу его же поездки?.. Он, значит, сам доставил, как это говорится, ресурсы тебе для уплаты?

Лысков тоже рассмеялся.

– Как это, однако, все связывается! – продолжал Чагин. – Вот и Пирквиц... Ты знаешь, ведь мы в армии вместе служили: он – прапорщиком, я – сержантом (мы переведены тем же чином). Я имел случай узнать его. Это – такая дрянь... Я знаю, и ты не любишь его, но ты не знаешь еще про него всего...

Чагин не только не сомневался в нелюбви Лыскова к Пирквицу, не раз им. выражаемой, но отлично понял, что именно вследствие этой нелюбви Лысков и предложил действовать отдельно и уступил Пирквицу первое место, чтобы не действовать вместе с ним.

– Что же у вас было? – спросил, зевнув, Лысков, который, видимо, не мог еще настолько освоиться с тряской брички, чтобы заснуть, и потому не прочь был поговорить.

– У нас ничего не было, Боже сохрани, но я невольно был свидетелем этой истории и убедился в его подлости. У нас в полку был солдат из латышей, славный такой, бравый, Паркулой его звали. Все его знали как отличного солдата, вполне честного.

– Это что же такое «Паркула»? Прозвище или фамилия?

– Фамилия. Только вот отправился раз я на траву с людьми. Две недели пробыли. Возвращаюсь – и что же узнаю? Говорят, Паркула попался в воровстве. Я не поверил сначала. Оказалось, что уже и суд над ним был. Его приговорили к шпицрутенам. У воеводши пропала шкатулка с бриллиантами. Кинулись искать.

Нашли, что в самый день пропажи видели эту шкатулку в руках у Паркулы. Сам стряпчий наткнулся на него, он и отдал ему шкатулку. Сказал, что с самого раннего утра ходил за город рыбу ловить, потом пробирался потихоньку, чтобы не заметили его отлучки, да на задах воеводского сада и нашел шкатулку сломанную. Сделали у него обыск, никаких бриллиантов не нашли, но все-таки признали, что Паркула был пойман с поличным, и в две недели скрутили дело. Больше всех хлопотал тут Пирквиц. Он и в судебной комиссии участвовал. Я приехал как раз накануне исполнения приговора над Паркулой. Жаль мне было его. И вдруг я вспомнил, что, уезжая на траву (люди вперед ушли, я догонял их), я действительно видел Паркулу у реки с удочкой. Это было так далеко от города, что он мог, действительно, забраться сюда только с ночи, значит, когда произошла кража, в городе его не было. Я к полковому командиру. «Так и так, – говорю, – сам видел и могу засвидетельствовать». Командир у нас был отличный, справедливый. Всполошился он, велел отложить исполнение приговора. Разобрали

дело вторично. Моему свидетельству поверили, а Паркулу хоть от наказания и освободили, но оставили «на всякий случай» в подозрении и перевели в разряд штрафных. Хорошо, что и этого добились...

– При чем же тут Пирквиц? – спросил Лысков.

– Погоди, сейчас... Прошло лето. Осенью послали меня с Пирквицем в командировку за рекрутским набором. В одном местечке остановились мы с ним на постоялом дворе. Проснулся я утром. Смотрю, Пирквиц встал уже. Было довольно рано. Я тоже поднялся, вышел на улицу. У крыльца стоял Пирквиц с проезжим бродячим евреем, знаешь, что торгует и продает разные разности. Они о чем-то разговаривали очень жарко. Торговец размахивал руками и все говорил, что «больше дать никак не может». Меня заинтересовало, что такое может продавать ему Пирквиц. Я подошел сзади. Что же ты думаешь? Он ему продавал бриллиантовое кольцо, совершенно такое, какое было у воеводши. Я так и вскрикнул и схватил его за руку. Он до того растерялся, что тут же и признался во всем.

Лысков отклонился из своего угла и почти с ужасом произнес:

– Послушай, Чагин, что ты врешь? Неужели он, офицер, украл эти вещи?

– То есть и да, и нет, если хочешь. Он, видишь ли, был в близких отношениях с воеводшей (она в матери ему годилась), и она подарила ему свои вещи потихоньку от мужа. Ну, а чтобы не открылось этого, они и обставили все так, как будто вещи были украдены. А тут подвернулся Паркула, и Пирквиц имел настолько бесстыдства, что не только не постарался выгородить его, но, наоборот, употребил все усилия, чтобы тот был обвинен.

– Вот негодяй! – вырвалось у Лыскова. – Ну и что же ты сделал с ним?

– Да что же? Он, как пойманный, ужасно струсил, стал плакаться, просил, чтобы не погубили его. Я обещал молчать, если он даст слово, поможет перевести Паркулу из разряда штрафных.

– И удалось, это?

– Пока я там был, хлопотали. Кажется, дело на лад шло. Пирквиц оставался несколько дольше меня в полку после перевода. Когда

приехал сюда, я его спрашивал. Он сказал, что Паркулу перевели.

Чагин замолчал.

Лысков не расспрашивал его больше. Кажется, этот рассказ неприятно подействовал на него, и он уткнулся в свой угол, потеряв охоту к дальнейшему разговору.

Курьерские бумаги

В октябре 1763 года скончался Август III, курфюрст саксонский и король польский. Польше предстояло избрать себе нового короля. Но это избрание было трудным, замысловатым делом. Внутреннее состояние Польши, разрозненной и разбитой на партии, не только не предвещало ничего доброго, но, напротив, способствовало интригам соседних государств, считавших себя вправе хозяйничать в ослабленной междуусобной борьбой партий стране.

Венский двор выставил своего кандидата на польский престол – саксонского принца, но такой кандидат не мог соответствовать видам другого соседа Польши – Фридриха, короля прусского, который не хотел допустить, чтобы польский престол упрочился за саксонским домом, враждебным ему и тесно связанным с не менее враждебными австрийцами. Поэтому Фридрих Прусский давно уже хлопотал о том, чтобы ограничить право избрания в короли на Пясте, то есть природном поляке.

Этот план соответствовал и русским инте-

ресам. Наши войска под предлогом охраны военных магазинов, устроенных еще в Семи-летнюю войну, находились в Польше и могли оказать поддержку тому из Пястов, который будет угоден русскому двору. Наши послы в Варшаве, Кейзерлинг и отправленный ему в подмогу Репнин, действовали при этом еще с помощью золота. Таким образом почти не было сомнения в том, что на польский престол взойдет кандидат, на которого укажет Россия и ради которого будут готовы двинуться наши войска, а Кейзерлинг с Репниным – истратить отпущенное в их распоряжение золото.

И Россия действительно указала на своего кандидата – природного Пяста, Станислава Понятовского.

Это был тот самый Станислав Понятовский, который явился в Россию несколько лет тому назад, когда Екатерина II, ныне могущественная, самодержавная государыня, была еще скромной, почти притесненной великой княгиней, не любимой мужем и казавшуюся почему-то подозрительной самой императрице Елизавете.

Одинокая, преследуемая красавица, вели-

кая княгиня встретила с видным, ловким и красивым Станиславом, и между ними начались романтические отношения. Вскоре он должен был оставить, против своей воли, Россию. Его заставили сделать это.

Теперь Екатерина была русской императрицей, могущество которой, казалось, не имело границ; по крайней мере, для слабой, разрозненной Польши не было другого выхода, как подчиниться этому могуществу. И она сделала его королем.

В августе 1764 года Станислав Понятовский был избран на польский престол.

Но тут, с момента этого избрания, способного, как казалось, осчастливить смертного, достигшего всего, что может лишь желать на земле, – достигшего короны, – и началась для Понятовского та страшная нравственная пытка, которая, не искупив, затмила все прелести власти и почета. Власть оказалась мнимой, почет явился кажущимся.

Женщина, возведшая на престол Понятовского как друга, должна была стать тотчас же по его восшествии врагом ему, потому что выгоды России заключались в ослаблении Поль-

ши. Там, где прежде действовало сердце, приходилось действовать разумом, и разум предписывал противное тому, чего желало сердце.

Помимо всего остального, Понятовский прежде всего, оказалось, любил свою родину, чувствовал ее язвы и горячо принялся за врачевание их. Но ни одну из мер, клонящихся к улучшению внутренних дел страны, ему не позволили провести.

С самого начала, с первого же раза ему связали руки и требовали от него, чтобы он, как ставленник чужой руки, играл только в эту руку и служил интересам не своей, а чужой страны.

Положение было ужасно, ужасно тем более, что чувство, зародившееся несколько лет тому назад, было живо, и, несмотря на это, приходилось все-таки бороться и враждовать разумом там, где сердце искало дружбу.

Благодаря этой двойной игре, благодаря этому исключительному, из ряда вон выходящему положению, к сентябрю 1764 года развилась и поддерживалась почти безостановочная переписка между русским и польским дворами и шли сношения русского прави-

тельства с их посольством в Польше и правительства польского с его посланником в Петербурге Ржевутским.

Между Петербургом и Варшавой то и дело скакали курьеры с явными и секретными письмами, и содержание этих писем было важно узнать для каждой противной стороны.

Но те бумаги, которые вез пан Демпоновский, были особенно, лично интересны Екатерине II. И вот отчего она, призвав к себе командира одного из гвардейских полков, приказала отрядить трех расторопных молодых людей для того, чтобы во что бы то ни стало перехватить эти бумаги.

Командир, зная Лыскова, остановился на нем в своем выборе, предоставив ему самому найти себе помощников.

Пан Демпоновский

Демпоновский выехал из Петербурга, как и говорил, требуя от Лыскова уплаты денег, – на другой день после бала.

Путь его лежал на Ямбург, Нарву, Дерпт и Ригу. До Ямбурга он добрался, не останавливаясь, и засветло еще подъехал к крыльцу единственного приличного постоялого двора. Он думал здесь только поужинать и сейчас же отправиться дальше с тем, чтобы ночевать в Нарве.

– А будет можно иметь цо есть до съеданья?[5] – спросил, входя, пан Демпоновский у чухонца, содержателя постоялого двора.

– Та все-то можно, – с некоторой гордостью ответил чухонец.

– Ну, так проше супу, – обрадовался Демпоновский, не евший с утра ничего горячего.

– Та вот супа нет! – с сожалением протянул чухонец.

– Ну, мяса?

– Та и мяса нет.

– Ну, куру?

– Та последнюю-то куру продали.

– Ну, яиц?

Чухонец развел руками вроде того, что и яиц не было.

– Отто лайдэк! – рассердился Демпоновский, – цо же даешь?[6]

– Горяча вода на самовар есть – чай та у вас с собой – мозно чай варить...

В это время из-за стоявшего в углу горницы стола поднялся русский офицер, которого при входе не заметил Демпоновский, и подошел к нему.

– Вы, очевидно, мало знакомы с нашими порядками, – обратился он к Демпоновскому. – По нашим дорогам нужно всегда ездить с запасом. Позвольте познакомиться; может быть, я могу быть полезен вам.

Офицер проговорил это с учтивым спокойствием и достоинством, произведшим большое впечатление на поляка.

Демпоновский поклонился и назвал себя.

– А моя фамилия Пирквиц, – поклонился в свою очередь офицер. – Так вот, если не побрезгуете, милости просим; я вам могу предложить походный ужин и стакан доброго вина.

И, обратившись к чухонцу, он приказал ему сказать денщику, чтобы тот достал из погребца другой прибор.

Все это было, разумеется, рассчитано у Пирквица, и эта случайная якобы встреча с польским курьером, которого он сейчас же узнал в пане Демпоновском, была обдуманна им и подготовлена.

Накануне вечером, на балу, узнав вследствие неосторожности Чагина порученное ему дело, Пирквиц охотно согласился на предложение Лыскова участвовать в перехвате польских бумаг, сейчас же сообразив всю важность этого поручения и выгоды связаться с ним. Он сам намекнул Лыскову, что лучше всего действовать им отдельно. Лысков одобрил этот план и предоставил Пирквицу первое место.

Ввиду этого Пирквиц считал уже бумаги в своих руках. Он боялся только одного, чтобы ему не помешал кто-нибудь.

Он явился в Ямбург заранее, расположился в единственном постоялом дворе, куда неминуемо должен был заехать Демпоновский, и действительно, все случилось, как он

предполагал. Они встретились, а Пирквицу большего и не нужно было. Он знал уже, что делать дальше.

Демпоновский, по-видимому, очень обрадовался и ужинал в приятной компании русского офицера, с удовольствием приняв его предложение и рассыпавшись в любезных выражениях своей благодарности.

У Пирквица были заготовлены холодная курица, ветчина, кусок телятины, а вино, которым он сейчас же стал угощать Демпоновского, оказалось действительно добрым старым вином.

Поляк стал уверять, что он – знаток в вине, понимает и может оценить; что в их «фамильном» замке в Польше хранится такое венгерское, какое нигде нельзя найти, а по соседству в монастыре, у монахов, можно достать старый, густой, как масло, мед, удивительно вкусный.

– Вы пили, проше пани, – блестя глазами, говорил Демпоновский, – стары мед польски – отто бардзо моцна штука![7] – и он щелкал языком и подмигивал, словно на него подействовали два стакана вина, налитые ему

Пирквицем.

– Я и мед пил, и «стару вудку» знаю, – отвечал Пирквиц, наливая еще вина. – Я ведь бывал в Польше и говорить могу по-польски... Только и пан хорошо муве по-русску, – продолжал он, желая, должно быть, доказать этими словами свое знание польского языка. – Да ведь польский язык какой язык? – весь красный уже от вина, кричал Пирквиц, воображая, что он очень мил. – Нужно только называть вещи не своими именами, вот и будешь говорить по-польски; диван например... это, собственно, мебель, а по-польски ковер... Люстра затем; повсюду это для свечей делается, а по-польски люстра – значит зеркало. – И, несмотря на такую филологическую непоследовательность, Пирквиц с искренним убеждением сделал вполне последовательно для себя вывод, что польский язык – славный язык. – Славный, славный язык, – повторял он и смеялся, то есть старался смеяться по возможности беспричинно, чтобы показать этим, что был пьян более, чем на самом деле.

Демпоновский тоже смеялся и тоже, казалось, порядочно выпил; но Пирквиц, прика-

зав принести новую бутылку, наливал еще ему, и он не отказывался, продолжая шумно разговаривать, не слушая того, что говорили ему, и сам не заботясь о том, слушают его или нет. Временами он неуверенными, дрожащими руками ощупывал лежавшую возле него на столе сумку, как бы не доверяя своим глазам и желая наверное убедиться, что она все еще тут, у него.

Пирквиц давно уже приглядывался к этой сумке, чувствуя, что в ней-то и лежит таинственная переписка.

«Ничего, ничего, – думал он про Демпоновского, – погоди, брат... от меня не уйдешь... не таковский».

Напоить Демпоновского было еще лишь началом выполнения задуманного Пирквицем плана, вступление так сказать, но он не пускал еще в ход своего главного, надежного и безошибочного средства.

«И как это все просто, – внутренне улыбался уже он, – неужели они думают (под „ними“ он разумел Лыскова и Чагина), что я выпущу его из своих рук и им что-нибудь останется? Нет, я бы ни за что не уступил первого ме-

ста... ведь тут никаких случайностей не может даже произойти».

И, пользуясь удобной минутой, потому что пьяный Демпоновский, держа руку на сумке, тянулся в окно, чтобы разглядеть, поданы ли лошади, Пирквиц высыпал из давно уже развернутой потихоньку под столом бумажки светло-желтый порошок в стакан поляка.

Этот светло-желтый сонный порошок, которым Пирквиц запасся перед отъездом у известного многим грека, торговавшего в гостинном дворе разными косметиками и вместе с тем потихоньку продававшего «безвредные», как он говорил, снадобья, – был главным и казавшимся безошибочным средством Пирквица.

– Ну, пан Демпоновский, – весело сказал он, стукнув стакан, – за ваше здоровье!

Поляк поглядел на него мутными глазами и бессмысленно покачал головою.

«Да он и так заснет!» – мелькнуло у Пирквица.

Но Демпоновский продолжал рассказывать что-то заплетающимся языком, и Пирквицу необходимо было поддерживать беседу.

Вдруг Пирквиц почувствовал непреодолимую тяжесть в веках и особенное, свойственное только этому, наслаждение, когда они опускались. Поднять их вновь было тяжело и мучительно.

В это время мысли в голове стали таять, уплывать куда-то; так, прежде были мысли и если исчезали, то потому, что их вытеснили новые, а теперь они исчезли и нет ничего – и Демпоновского нет, и сумки его нет, и все это – вздор, успеется... завтра...

И, не пытаясь даже бороться с одолевавшим его сном, Пирквиц опустил голову на руки и, все больше и больше склоняясь ею к столу, задышал тяжело и ровно, засопев носом.

Как только он заснул, пан Демпоновский тотчас же протрезвел и, проведя рукой по своим всклокоченным волосам, пригладил их и расправил усы.

– Отто лайдэк! – усмехнулся он в сторону Пирквица, произнеся свое обращение с совершенно тем же ударением, с которым обращался к чухонцу, содержателю двора, а вслед за тем, забрав свою сумку и осторожно вылезши из-за стола, вышел на крыльцо, где ждали

его уже готовые лошади.

Ржевутский знал, кого послать с важными бумагами, и недаром рекомендовал Демпновскому осторожность.

Последний, встретясь с русским офицером, который показался ему подозрительным, нарочно представился пьяным и, отворачиваясь, все время следил за Пирквицем. Он видел, как этот Пирквиц, более пьяный на самом деле, чем он, неловко всыпал в его стакан порошок, и, не подавая виду, в свою очередь улучил момент переменить стаканы, ставив таким образом Пирквица попасться в свою же собственную ловушку.

Распутье

В то время когда пан Демпоновский остав- лял сонного Пирквица, Чагин с Лысковым были уже далеко за Нарвой.

– Откуда ты знаешь эти места так хорошо? – спросил Чагин приятеля, объяснявшего ему, что они скоро подъедут к трактиру, стоящему на разветвлении дороги надвое, и что этот трактир называется «Корма воздушного корабля». – И какое странное название! – добавил он, усмехнувшись.

– Потому-то я и запомнил его, – ответил Лысков. – А впрочем, я бывал в этих местах, возвращаясь с полком после похода.

Лысков произнес свои последние слова «я бывал в этих местах» с таким выражением, что Чагин невольно покосился в его сторону.

«Что это с ним?» – подумал он.

Они ехали от Ямбурга верхом в сопровождении Захарыча и Бондаренко.

Последний, бывший уже несколько лет в школе Лыскова, вполне усвоил привычки своего офицера. Он даже в беседе с другими денщиками на скамейке у ворот не отличался

разговорчивостью, в присутствии же Лыскова окончательно затихал, не произнося лишнего слова. Всю дорогу он ехал, к крайнему огорчению старого Захарыча, любившего, наоборот, поговорить, рядом с ним, отмалчиваясь на все его попытки к разговору.

Ехавшие впереди их Чагин с Лысковым тоже молчали почти в продолжение всей дороги. Чем дальше удалялись от Нарвы, тем серьезнее и задумчивее становился Лысков.

– Так ты говоришь, что этот трактир на распутье? – спросил опять Чагин, немного погодя.

Лошади их, утомленные большим переездом, шли шагом.

– Да, мы должны остановиться в нем, во-первых, для того, чтобы дать лошадям отдохнуть, а во-вторых, потому, что дальше ты поедешь один.

Чагин поморщился.

– Значит, – сказал он, – ты хочешь дожидаться Демпоновского в трактире?

– Да, я дождусь его.

– Послушай, Лысков!пусти меня прежде попробовать.

Чагину всей душой хотелось показать и доказать на деле, что он все-таки может действовать разумно и осмотрительно и, главное, загладить этим свою прежнюю оплошность. Теперь, как казалось ему, он будет уже вести себя так, что ни за что не опростоволосится.

Но Лысков сразу остановил его пылкость.

– Ты помнишь уговор? – перебил он.

– Какой уговор?

– Слушаться!

Чагин вздохнул.

– Нет, я хотел только, – начал было он, но Лысков так внушительно, почти зло, поглядел на него, что приходилось умолкнуть.

«Что это с ним, однако?» – опять подумал Чагин, снова покосясь на приятеля.

Тот в это время вдруг с размаху ударил лошадь, и она, собрав последние силы, пустилась крупной рысью, так что горячий, не привыкший к долгим переходам жеребец Чагина едва мог следовать за ней.

Когда подъехали к одиноко стоявшему, действительно на распутье, трактиру с пресловутым названием «Корма воздушного ко-

рабля», Лысков соскочил с седла, а затем, как бывалый человек, поднялся на ступеньки крыльца и стал расспрашивать выбежавшего им навстречу хозяина-немца, можно ли им остановиться и есть ли у него комната.

Чагин еще в начале путешествия имел случай удивиться скрытому для него прежде знанию немецкого языка Лыскова, который, по видимому, весьма сносно изъяснялся на нем.

Оказалось, что из трех комнат, имевшихся к услугам проезжающих господ, две были заняты, и одна только оставалась свободной.

– Нам больше и не нужно, – пояснил Лысков.

Он велел людям вести лошадей на конюшню, но, прежде чем войти в дом, долго разговаривал с трактирщиком относительно того, куда и как идут дороги и в каком месте они вновь сходятся на тракт в Риге. Говорил больше он сам. Трактирщик только поддакивал ему. Очевидно, Лысков знаком был с местностью и дальше, и желал проверить себя.

Пока они разговаривали, вечерние сумерки окончательно потемнели, и в безоблачном осеннем небе зажглись яркие звезды. Ночной

холодок начинал уже прохватывать стоявшего тут же без дела Чагина, которому давно хотелось в комнаты.

Наконец Лысков, словно нарочно тянувший расспросы, толкнул ногой дверь и вошел в сени. Чагин последовал за ним.

Трактирщик повел их по узкой деревянной лестнице наверх, сняв со стены зажженный фонарь. Лысков был впереди. Поднявшись по лестнице, он миновал было первую маленькую дверь направо, но трактирщик остановил его и, отворив дверь, сказал, что эта комната свободна. Лысков остановился.

– Ах, только не эта! – вырвалось у него.

Чагин с удивлением глянул в лицо приятеля, освещенное фонарем, который приподнял трактирщик, видимо, тоже пораженный.

– Отчего же не эта? – заговорил он. – Это самая лучшая моя комната: тут и комод, и часы. Отличная комната. Да, кажется, господин здесь жил когда-то, – добавил вдруг трактирщик, точно внезапно узнав Лыскова и обрадовавшись, что усилия воспоминания, с которыми он все время вглядывался в гостя, увенчались успехом.

Незнакомая до сих пор Чагину складка на лбу Лыскова между бровей, появившаяся теперь у него, стала еще заметнее; он явно с трудом сделал над собой усилие и, не дав далее распространиться воспоминаниям трактирщика, решительно шагнул через порог комнаты.

– Хорошо, хорошо, – проговорил он, – мы берем эту комнату.

Через несколько минут комната приняла жилой вид и, как всегда это бывает, сейчас же получила какой-то неуловимый отпечаток лиц, остановившихся в ней.

Принесли вьюки с лошадей, потребовали у трактирщика вина и ужин. Солдаты достали таз и кувшин с водой для умывания. хлопотал один Чагин. Лысков, как вошел, так опустился у окна и сидел, следя безучастным взглядом за хлопотами приятеля. Он не хотел ни умыться, ни переодеться и, только чтобы не обидеть Чагина, придвинулся к столу, накрытому уже скатертью и уставленному тарелками и стаканами. Однако, когда принесли шипевшую на сковороде яичницу и блюдо говядины с луковым соусом, Лысков отказал-

ся от того и другого. Он, точно не замечая, что делает, налил лишь полный стакан вина, выпил его залпом и снова сейчас же наполнил опять.

– А какая разница тут и у нас! – заговорил Чагин, принимаясь за ужин. – Ведь вот после Нарвы совсем все другое пошло. Как же можно сравнить их трактиры с нашими постоянными дворами: и чисто, и все достать можно. Да отчего ты не ешь? Право, эта яичница очень хороша.

Но Лысков не отвечал; он выпил второй стакан, подумал и налил третий.

Чагин никогда не видал, чтобы Лысков столько пил, и, главное, пил с таким тупым, упорным озлоблением, как делал это теперь.

Это необычное питье, да и вообще расположение духа Лыскова после Нарвы, потом нежелание останавливаться в комнате, в которой они сидели теперь, весьма естественно давали понять Чагину, что у его приятеля, по видимому, знакомого довольно хорошо с этими местами, есть здесь какие-то воспоминания, по всей вероятности неприятные, которые теперь поднялись в нем и проснулись.

Чагин знал, что самое лучшее в таких случаях оставить человека в покое, и так и сделал.

Комната «Кормы воздушного корабля»

ЛЫСКОВ один выпил около двух с половиной бутылок.

Чагин, давно уже насытившийся, отодвинулся от стола, облокотившись на спинку стула и усталыми, слипающимися глазами смотрел перед собой, ощущая одно лишь желание поскорее уснуть. Но он медлил встать из-за стола, потому что ему лень было двинуться, и еще потому, что Лысков, как казалось, и не думал о сне. Он сидел, подперев щеку кулаком, и, рассеянно-молчаливый в начале ужина, стал теперь разговорчивее и рассказывал о походе, сделанном им с полком. Язык его слегка заплетался, но речь была все-таки довольно связна.

Чагин слушал, и его удивляло лишь одно – отчего Лысков, всегда такой спокойный, ровный, редко произносивший одно слово громче другого, теперь вдруг, говоря о походе, о котором прежде всегда вспоминал с удовольствием, сделался неумолимо едким и расска-

зывал, приправляя свою речь злобно-насмешливыми выходками против всех и вся, как будто презирал и ненавидел все человечество. Это было в особенности странно слушать Чагину, готовому, благодаря своей счастливой любви, наоборот, везде видеть только милых и хороших людей.

«И чего он, право? – думал он про Лыскова. – Ведь на самом деле он славный и все хорошие... вот только Пирквиц... А ведь он должен уже встретиться с Демпоновским».

– А что, как ты думаешь, – перебил он совершенно неожиданно рассказ Лыскова, – как ты думаешь, Пирквиц устроился или нет? Может быть, мы сидим тут, пьем, а он, может быть, получил уже бумаги и везет, торжествующий, их в Петербург.

Лысков прищурился и улыбнулся.

– Не воробьиному носу пшеницу клевать, – сказал он.

– Ну, однако, ведь все может случиться!

– Да, да... все может случиться, – задумчиво повторил Лысков. – Ну что же, может быть, он и везет теперь бумаги в Петербург.

– Положим, тебе все равно, – начал опять

Чагин, вдруг оживляясь, – но мне это было бы по многим причинам неприятно, чрезвычайно неприятно.

– По многим причинам?

– Да. От этой командировки зависит все счастье моей жизни.

– О-о! – воскликнул Лысков. – Этим много сказано.

– Нет, не много. Для меня это очень-очень важно.

– Что же, опять мундира нового нет или что-нибудь в этом роде? – улыбнулся Лысков.

– Нет, тут не в мундире дело, – заговорил Чагин, глаза которого вспыхнули и сонливость как рукой сняло.

Редкий человек имел способность так быстро и неожиданно воодушевляться, как Чагин, и за это-то воодушевление особенно и любил его Лысков.

– Ты знаешь, – продолжал, понижая голос, Чагин с особенной серьезностью влюбленных молодых людей, – ты знаешь, я теперь так счастлив... я люблю; ну, и кажется...

– Тебя тоже любят.

Чагин кивнул головой с восторженной

улыбкой.

– Если бы ты знал, она прелесть как хороша!

– Соня Арсеньева?

– Ты почему знаешь? – невольно вырвалось у Чагина.

– Ну, как же не знать, ты постоянно с нею!.. Неужели ты думал от меня-то скрыть?

– Нет, я не хотел скрывать. Но, понимаешь, об этом говорить как-то неловко, совсем неловко. Ну вот, теперь так к слову пришлось... и потом в дороге, при совсем необыкновенных условиях. А то как же я приду вдруг и скажу?

– К тому же оно и без того было ясно, – вставил Лысков.

– Неужели ясно? Ты заметил, значит и другие?

– Я заметил, другие – не знаю. Но дело не в этом. Я тебе советую – брось!

– То есть как брось? Как брось? – почти с ужасом спросил Чагин.

– А вот всю эту историю, и любовь, и прочее... глупость одна, пустое.

– То есть как пустое?

– А так: всем это нам кажется, когда вот влюблены, что и счастливы мы, что и недостойны «ее», и что лучше «ее» нет никого. А посмотришь, все вздор выходит: и «она» так же, как все, и все это – одно воображение.

– Это оттого, что ты никогда не любил! – с уверенностью решил Чагин.

– Нет, мой друг, именно потому, что я говорю по опыту. Кто из нас не прошел через это? Все прошли...

– И ты прошел... Вот как?! – удивился Чагин. Он удивился потому, что представление о влюбленности и о Лыскове казались для него совершенно противоположными. – Нет, этого не может быть, – добавил он.

– Отчего же не может быть? И не так давно, и очень недавно даже все это было вот здесь, в этой самой комнате. А между тем как кажется все уже отдаленным, будто много-много времени прошло.

– Неужели в этой комнате? – переспросил Чагин, чтобы вызвать этим Лыскова на дальнейший рассказ.

– Да, это было здесь, в этом трактире с его нелепым названием, – сказал Лысков, помол-

чав. – Вот видишь ли.

Началось это, когда мы возвращались походом через Польшу. Полк наш был уже на мирном положении, мы шли домой. Я исполнял тогда временно обязанности квартирмейстера. Раз въезжаю в местечко; это не город, не деревня – так, что-то среднее в Польше; евреев пропасть. Большинство разбежалось при виде нас. Я послал людей разузнать местность, а сам стал объезжать лучшие дома, чтобы выбрать помещение для полкового командира и офицеров. Только в одном доме застаю удивительную картину. Представь себе, молоденькая девушка в восточном костюме сидит одна, в углу, поджав ноги. Перед ней мертвая старуха, мать ее, как после оказалось. Турчанки они были. Зачем, как они попали сюда – никто не знал. Хозяева дома – поляки – рассказывали, что якобы остановились они проездом в их местечке; тут старуха заболела, промучалась недели три и умерла в тот день, когда я приехал.

Девушку звали Фатьмой, ее мать – Алише; вот все, что было известно про них. Как ни старался я спрашивать эту Фатьму, как

ласково ни заговаривал с нею – она упорно молчала, – оттого ли, что действительно не понимала, что ей говорили, или смерть матери так на нее подействовала и она боялась меня.

Когда пришли наши, я рассказал про турчанку. Заинтересовались. Сначала хотели всем гуртом к ней идти, но потом решили, что это ее окончательно испугает. Было решено, чтобы пошли я и старик Смотрев. Знаешь Смотрева? Он бывал в Турции, в сороковом туда ходил, он умеет по-ихнему.

Приходим. Фатьма сидит все в том же положении: лицо наполовину закрыто, только два глаза исподлобья смотрят. Мы поклонились. Она словно и не видит нас.

Только как заговорил Смотрев на ее языке – она так и вздрогнула; повела плечами, хотела ответить, да как заплачет. После слез ей стало как будто легче.

Оказалось, она – дочь знатного, как она говорила, паши. И действительно, породы в ней было много: стройная, ножка маленькая, пальцы на руках тонкие, сквозные, а глаза, как у газели. Ты никогда не видал, как газель

смотрит? Ну, вот случится – поймешь тогда.

Про отца она сказала только, что нет его. Когда Смотрев спросил про родных, она ответила, что и их нет. Была у нее одна «родная» – мать, но и той не стало... и опять слезы.

Главное, что ее мучило – это как мать похоронить. Мало того, что некому было магометанский обряд над нею совершить, но не на что ей было даже саван купить. Не только деньги, какие были у них, истрачены во время болезни матери, но и все ее ценные вещи взяты хозяевами в уплату долга за квартиру и стол.

Когда мне перевел это Смотрев, я попросил сказать ей, чтобы насчет этого она, конечно, не беспокоилась. Уже с самого нашего прихода и, в особенности, как один из нас заговорил с Фатьмой на ее языке, у хозяев произошло некоторое замешательство. Видно было, что что-то неладно. Я вышел в комнату хозяйна и потребовал, чтобы он возвратил вещи. Он исполнил это беспрекословно, поняв, должно быть, что всякое сопротивление только испортит дело, и объяснил, что он-де эти вещи взял только на сохранение, чтобы кто-

нибудь не обобрал девушку. Я сделал вид, что поверил ему. Стоимости вещей хватило бы не на несколько недель жизни в захолустье, а на несколько лет жизни в столице. Я велел передать вещи самой Фатьме.

Она стала говорить, что ей не надо ничего, что хозяева добрые люди и чтобы их не обижали из-за нее, но успокоилась лишь тогда, когда я у нее на глазах заплатил хозяину все, что он потребовал по счету.

Этого она не ожидала и спросила, кто мы такие? Узнав, что мы русские, она ответила только: «Отец мой всегда уважал русских!» После этого она стала спокойнее.

Старуху Алише мы похоронили. Начали спрашивать Фатьму, что она намерена дальше делать? Она ничего не знала; даже куда они ехали – ей не было известно. Когда ей предложили отправиться на родину, она с ужасом стала отнекиваться. Про отца она повторяла, что нет его. И больше ничего от нее нельзя было добиться.

Думали мы, думали, что делать с красавицей-турчанкой? Решили предложить ей остаться с нами до тех пор, пока она пожела-

ет, а мы, офицеры, будем беречь ее, как сестру родную.

Долго она расспрашивала, кто мы собственно такие? Русские, но все-таки вольные мы люди, или служим полякам, или завоевали их? Как ей ни объясняли, что мы служим только своему государю и что ходили воевать не с поляками, а с другими, с немцами, она долго не могла понять. Наконец она увидела весь наш полк в строю и, когда ей сказали, что все эти люди берут ее под свою защиту, вдруг почувствовала доверие к нам.

С этих пор она осталась у нас. Чаще других с ней виделся Смотрев. Он учил ее говорить по-русски. Мало-помалу она перестала дичиться. Впрочем, ее старались не беспокоить. Так прошли всю Польшу.

Во время одной стоянки у меня открылась рана, должно быть, плохо залеченная. Я слег. Узнав о моей болезни, неожиданно явилась Фатьма, ухаживать за мной...

Лысков приостановился и глубоко вздохнул.

– Ну? – произнес Чагин.

– Ну, что ж... тут как тебе сказать? Когда я

увидел, мне она с первого же раза понравилась... глаза одни чего стоили. Ну, когда я выздоровел, мы, что называется, оказались влюбленными. Я был счастлив не меньше, чем ты теперь, и говорил, и думал такие же глупости, как ты...

– Отчего же глупости? – не утерпел Чагин.

– Разумеется. Иначе и назвать нельзя. Считал я себя счастливейшим человеком и все такое и жениться собирался по приходе в Петербург. И знаешь, чем это кончилось? Эта самая Фатьма, произносившая клятвы в верности мне – да какие, брат, клятвы: по-восточному – и луна померкни, и земля расступись. Так эта самая Фатьма в один прекрасный вечер сбежала с каким-то мужчиной. Вот тебе и вся история.

– Быть не может! – удивился Чагин.

– Да уж верно говорю. Я тотчас же взял отпуск и пустился за ними. Зло меня взяло. Я попал на их след и гнался за ними по пятам вплоть до этого вот трактира. Они, вероятно, в Россию направлялись. И догнал их здесь. То есть я узнал, что они были здесь, на другой день утром, потому что приехал поздно сюда,

а они на рассвете выехали дальше: она, должно быть, через людей узнала, что я здесь, и оставила мне молитвенник, который я подарил ей (единственный мой подарок!), чтобы она училась читать по нему. На переплете было написано печатными буквами (она не умела иначе): «Не ищи меня, я тебя обманула».

Молитвенник Фатьмы

Чагин выслушал рассказ приятеля с той особенной, слегка как будто тщеславной улыбкой, с какой слушают счастливые люди рассказы несчастливых. Измена Фатьмы и история обманутой любви Лыскова ни в чем не разубедили его. Ну что ж из того, что какая-то там Фатьма изменила, что Лыскову пришлось разочароваться? Да разве это может касаться его, Чагина? Разве Соня Арсеньева, эта прелесть, эта из ряда вон выходящая девушка, непохожая на обыкновенных смертных, может быть приравнена к этим обыкновенным смертным? Да если бы все девушки в мире оказались недостойными – это значило бы лишь, что они – земные, простые существа, разумеется, неспособные стать рядом с тем высшим, прекрасным созданием, каким была Соня.

Так думал Чагин, потому что все влюбленные думают так, но вслух он не сказал этого Лыскову. Он не сказал этого потому, что ему все-таки хотелось еще верить в любовь своего приятеля. Он так бы желал видеть его счаст-

ЛИВЫМ!

К тому же, несмотря на то, что Лысков называл Фатьму, говоря о ней «этой Фатьмой», и вообще старался казаться равнодушным, видно было именно вследствие этого старания, что его чувство к молодой турчанке далеко не угасло в нем.

«Но неужели она так-таки грубо, ни с того ни с сего изменила ему? – рассуждал Чагин. – Или она раньше лгала, лгала в любви? Но разве можно лгать в этом? Нет, тут что-то не так!»

– Этот молитвенник у тебя цел? – спросил он наконец у Лыскова.

Тот ответил, что когда получил молитвенник и прочел надпись, то последняя так подействовала на него, что он сунул молитвенник в ящик комода и больше не открывал ящика до своего отъезда.

– Значит, он остался здесь? – спросил опять Чагин. – Ведь ты говоришь, что в этой комнате останавливался тогда?

– Вероятно, остался, потому что я не трогал его больше. Верно, кто-нибудь нашел его потом! – добавил Лысков с холодной, горькой

улыбкой.

– А может быть, сам хозяин трактира взял его и спрятал, и он до сих пор у него?

– Может быть. Но тебе-то зачем это? Не все ли равно?

– Нет, не все равно. Вот видишь ли, мне хотелось бы взглянуть. Мне все кажется, что тут что-то не так: не может быть этого!

Лысков вдруг поднял голову и пристально взглянул на приятеля.

– То есть чего не может быть? – проговорил он. – Я же тебе говорю, там ясно было написано: «Не ищи меня, я тебя обманула»; кажется, определеннее этого быть ничего не может.

– Да, но уверен ли ты, что это она сама писала?

На один миг, словно молнией, осветилось лицо Лыскова: в нем промелькнула надежда, но это был один только миг.

– Кому же было писать? – сейчас же сказал он, снова опуская голову. – Нет, и говорить об этом не стоит больше.

Но Чагин чувствовал, что, напротив, его другу хотелось говорить именно об этом, и промелькнувшая надежда оставила в его ду-

ше след. И, видя, что тот сам не прочь еще раз перебрать все, что могло бы служить в оправдание любимой им девушки, он постарался придумать было такое оправдание. Однако, несмотря на полное напряжение всех умственных его способностей, из его старания ничего не вышло.

Тогда он все-таки решился хоть попытаться достать молитвенник и, выйдя под случайным предлогом из комнаты, направился вниз к хозяину.

«Вот если молитвенник сохранился у хозяина, тогда все устроится к лучшему и польские бумаги мы получим!» – пришло ему почему-то в голову.

Хозяин оказался очень разговорчивым старым немцем. Чагин, хоть плохо, но все-таки настолько говорил по-немецки, что мог спросить у него, хорошо ли помнит он то время, когда останавливался у него Лысков, и затем в свою очередь понять объяснения немца, что тот отлично помнит это время, потому что «Herr von Liskoff»[8] внезапно заболел тогда у него и долго пролежал (эту подробность Лысков опустил в своем рассказе), так долго про-

лежал, что счет на него достиг очень большой суммы и нужно было бояться, что ему нечем будет заплатить.

– Ну, да это неинтересно! – поспешил перебить Чагин. – Но, когда он уехал, не помните ли вы, не оставил он в комодe книги какой-нибудь?

– Оставил, оставил! – радостно подхватил немец. – О, в моем доме ничего не пропадет, ничего! И я совсем забыл об этой книге сначала, но, когда вы приехали, я говорю моей жене: «Знаешь, Амалия, к нам опять приехал тот благородный господин, русский офицер, который около двух с половиной лет тому назад так долго болел у нас, и мы боялись, заплатит ли он нам».

– Ну да, а книга-то? – опять перебил Чагин.

– Тогда жена моя Амалия и говорит: «Послушай, Карл, у меня цела книга, которую этот благородный господин оставил в комодe». И тогда я вспомнил об этой книге и хотел завтра сообщить о ней. Но только господин фон Тисков, кажется, насколько я заметил, не любит, когда ему говорят, что он стоял у нас, – добавил немец, понижая голос и перевирая

уже фамилию Лысков на Тисков.

Чагин попросил хозяина показать книгу.

Это был обыкновенный молитвенник московского издания, в кожаном переплете. Отвернув верхнюю крышку переплета, Чагин действительно увидел на обратной стороне ее надпись, про которую говорил Лысков. Надпись была слишком ясна. Сомнение казалось неуместно.

Чагин повертел в нерешимости книгу в руках. И вдруг, когда он хотел уже вернуть эту книгу обратно немцу, с тем чтобы тот уничтожил ее, он случайно развернул ее на том месте, где была заложена тоненькая-тоненькая тесемочка, какие делали в то время для замечток.

На развернувшейся странице одно место поразило Чагина. Под одним из слов текста (это слово было «терпение») бумага оказалась зашершавленной, точно слово было подчеркнуто и потом черта стерта.

Чагин невольно посмотрел страницу на свет. И что же? Более светлые, сквозящие места, то есть, очевидно, стертые, выступили не только под словом «терпение», но и еще под

несколькими. Если прочесть отмеченные таким образом слова, то выходило:

«Терпение, скоро, твое, твоя, любить, всегда, будем, вины, нет».

Положение сразу круто изменялось. Для Чагина, по крайней мере, сейчас же все стало ясно: кто бы ни была эта таинственная Фатьма, но, очевидно, она любила Лыскова. Если она уехала, бежала, что ли, то сделала это, видимо, в силу совершенно других причин, а не измены. Она, узнав, что Лысков вслед за нею явился в придорожный трактир, оставила ему его подарок с подчеркнутыми краткими, но тем не менее красноречивыми словами. Вероятно, книга была перехвачена, подскоблена и затем сделана надпись на переплете. Так представилось дело Чагину в первую минуту.

Но сейчас же вслед за этим явилось у него другое соображение: а что, если эта Фатьма сначала решила продолжать свой обман и ради обмана подчеркнула милые слова, а потом ее взяло раскаяние, и она, стерев свое подчеркивание, сама сделала надпись, вызвав ею правду?

Если бы можно было узнать хоть какие-нибудь подробности о том, как был передан молитвенник Лыскову!

И Чагин, словно его собственное благополучие зависело от этого, начал расспрашивать у немца, не помнил ли он, как и когда была передана эта книга Лыскову.

Немец все помнил. О том, собственно, эта ли книга была или другая – он не помнил, но мог ручаться наверняка за то, что какую-то книгу просила его передать господину Лыскову девушка в восточном одеянии. У него именно потому врезались в памяти все эти обстоятельства, что девушка была не обыкновенная, а в восточном одеянии. Но после того, как она дала книгу для передачи господину Лыскову, к нему, хозяину, приходил ехавший с девушкой господин и спрашивал, что было передано ему. Когда он узнал, что это была книга, то просил показать ему и унес ее, а потом принес и велел непременно передать господину Лыскову, как только они уедут, а уехали они очень быстро, рано и поспешно. Вот все, что мог рассказать трактирщик, но этого было более чем довольно.

Две службы

На другой день, рано утром, Лысков разбудил Чагина, крепко и сладко спавшего безмятежным, здоровым сном после дороги.

– Э-э, брат, ты уже проснулся, встал и оделся? – проговорил Чагин, с трудом раскрывая слипавшиеся глаза и видя Лыскова действительно одетым.

– Я вовсе не раздевался, – пояснил тот. – Да и спалось плохо: боялся как бы не упустить нашего курьера, если он подъедет. Ну, вставай, пора!

Несмотря на то что Лысков говорил, что «ему спалось плохо», Чагин, очнувшись от сна, сейчас же увидел, что он не только не спал всю ночь, но и не пробовал ложиться.

Когда Чагин пришел вчера к нему с молитвенником Фатьмы, показал выскобленные места, передал полученные от хозяина сведения, нельзя было не заметить, как подействовало все это на Лыскова. Впрочем, внешним образом он ничем не выразил обуявшего его волнения – такова была его натура. Но именно, чем сдержаннее человек, чем менее вы-

сказывает он то, что происходит у него на душе, тем сильнее чувствует он и тем сильнее действует на него нравственное потрясение.

Лысков не стал приходить в отчаяние, пенять на себя, зачем не пришло ему в голову тогда же просмотреть внимательней молитвенник; он ничего не сказал, только нахмурился, и лицо его дернулось несколько раз невольной судорогой, которую он уже не в силах был сдержать.

Видя, что происходит с ним, Чагин не знал, как лучше было сделать – сказать ли Лыскову всю правду, то есть поступить так, как он поступил, или скрыть и оставить его в заблуждении, что турчанка изменила ему. Правда, полученная теперь уверенность в любви Фатьмы служила утешением прежнему горю, но это горе было именно прежнее, выболевшее и пережитое, а теперь явилось новое, потому что приходилось убедиться в потере не только любимой, но и любящей женщины. Рассказав все Лыскову, Чагин видел, что большего он ничего не мог сделать. Ни помочь, ни утешить нельзя было. В самом деле, даже говорить, что можно искать Фатьму, казалось

смешно. Где она теперь, что она? Ответа на этот вопрос невозможно было найти.

Лысков и не хотел, и не ждал утешения. Чагин видел, что он желал лишь одного: чтобы оставили его в покое, и тогда он сам справится с поднявшейся в нем душевной тревогой.

Так и вышло. К утру, не сомкнув глаз в продолжение ночи, Лысков пришел – хотя, может быть, только наружно, кажущимся образом – в свое обыкновенное ровное настроение. По крайней мере, теперь нельзя было заметить, что происходит у него внутри. Он спокойно будил Чагина и говорил с ним о деле службы, по которому они теперь ехали, словно боясь заговорить о чем-нибудь другом, чтобы это другое как-нибудь случайно не затронуло болевшей в нем раны.

Мы всегда как будто получаем некоторое превосходство над человеком, когда узнаем в его прошлом какую-нибудь особенно близкую ему тайну, и Чагин невольно чувствовал теперь это превосходство над Лысковым, как тот ни старался делать вид, что, собственно, не произошло ничего особенного и все оста-

ется по-прежнему.

Лысков казался теперь очень занят польским курьером и старался думать исключительно об этом деле. Он рассчитывал, когда может поспеть Демпоновский сюда, и по его расчету у него и Чагина оставалось довольно еще времени, чтобы дать лошадям хорошенько отдохнуть.

– Я был на конюшне, – сказал он. – Лошади довольно свежи, но все-таки лучше, если они постоят еще. И твоя, и моя ели очень исправно.

О Пирквице не было речи, как будто его вообще не существовало. Чагину так хотелось самому завладеть польскими бумагами, что он давно уже убедил себя, что никто и не завладеет ими, кроме него.

– Так ты видел лошадей? Это очень хорошо, – ответил он Лыскову, чтобы ответить что-нибудь. – Но как же все-таки ты думаешь поступить? Ну, приедет сюда Демпоновский, ну, хорошо, а дальше что?

– Дальше? Я говорю тебе, нужно ждать случая: в таких делах только случай и может помочь.

– Однако все же нужно сговориться, составить хоть какой-нибудь план, самое важное-то. Ну, как же? Неужели у него придется вынуть из сумки?

– Это, братец, скверно будет; на воровство похоже.

– Я и говорю... я то же думаю. Но как же иначе?

Лысков задумался.

– Э... э... все равно, как-нибудь да устроим, – махнул он рукой, вдруг раздражаясь, но вовсе не потому, что не знал, как поступить с Демпоновским, а потому, что его мысли снова невольно свернули на то, о чем ему хотелось совсем забыть.

Чагин, чтобы скрыть появившуюся у него на губах улыбку, отвернулся к окну.

Утро было солнечное, ясное. Из окна виделось широкое пространство, покрытое обросшими лесом холмами, между которыми вилась, пробегавшая под окнами, дорога.

Чагин невольно проследил глазами эту дорогу, по которой они ехали вчера, и мысленно перенесся в Петербург, где была его Соня Арсеньева. Но в это время его отвлекла пыль,

поднятая на дороге приближавшимся к трактуру экипажем. Вот он придвигается ближе... ближе. Можно уже различить пару сытых лошадок, бодро семенящих шибкой рысью. Кучер-латыш, ни фигурой, ни ухватками непохожий на русских ямщиков, машет длинным кнутом. Еще немножко – и экипаж оказывается бричкой, в которой сидит кто-то.

«Это Демпоновский!» – отдалось у Чагина, словно толкнул его кто.

– Посмотри, – позвал он Лыскова, – едет кто-то. Уж не Демпоновский ли?

– Нет, не может быть. Ему рано еще приезжать, – проговорил Лысков, тоже подойдя поближе к окну.

– Ну как же нет, – радостно перебил Чагин, – посмотри!

Бричка приблизилась настолько, что можно было узнать сидевшего в ней.

– В самом деле он! – решил Лысков. – Это нехорошо.

– Как нехорошо? Напротив, это значит, что Пирквиц ничего не мог сделать и бумаг не достал! – воскликнул Чагин и только теперь, при виде подъезжавшего Демпоновского, по

вдруг охватившей его радости, понял, что он все время не переставал бояться в глубине души, что Пирквиц сумеет справиться с делом.

– Это значит, – пояснил в свою очередь Лысков, уже тоном своего обычного спокойствия, – что Демпоновский едет на переменных, заготовленных для него лошадях и что, несмотря на то, что мы верхом, мы его не догоним потом, если дело не обделается сегодня. Ну, а это почти невозможно... так сразу...

– Послушай, Лысков! Я его задушу и отберу бумаги! – проговорил совершенно неожиданно для самого себя Чагин.

Глаза его блестели, и сам он испытывал то необъяснимое сладостное волнение, которое чувствуешь на охоте, при виде приближающегося зверя.

– Не говори глупостей! Теперь нужно полное хладнокровие. Слушай! От этого трактира идут две дороги: та, которая направо, – это главный тракт; по нему всегда ездят, вероятно, и Демпоновский поедет тут. Дальше, налево, – малая дорога, которая сходится через тридцать верст снова с трактом. Последний делает в этом месте заворот и верст на пятна-

дцать длиннее. Ну так вот – садись сейчас на лошадь и отправляйся по короткой дороге к такому же, как этот, трактиру. Он называется «Тихая долина» – будешь помнить? – и стоит также вот на распутье, где тракт сходится снова с дорогой, по которой ты поедешь. Ты выиграешь довольно времени, чтобы поспеть задолго до Демпоновского. И если он от меня уйдет отсюда, тогда будет твоя очередь. Понял?

– Понял, – ответил Чагин, которому хотелось остаться.

– Ну, так с Богом! Только выйди отсюда так, чтобы Демпоновский не видел тебя, через заднее крыльцо. Захарыча с вещами оставь здесь, а то, пока он соберется, времени много уйдет.

С улицы послышался стук подкатившей к крыльцу брички.

– Ну, вот он! Действуй! – проговорил Лысков и чуть не насильно вытолкнул Чагина из комнаты.

Ландскнехт

Едва успел удалиться Чагин, как на крыльце пан Демпоновский поднял шум. Сначала он требовал трактирщика, потом, когда тот явился, стал настаивать на том, чтобы ему отвели отдельную комнату, потому что он ни за что не хочет идти в общий зал, где может быть всякий встречный. Трактирщик почтительно докладывал ему, что последняя свободная комната, к сожалению, была занята еще вчера с вечера и, при всем своем желании, он не может отвести отдельное помещение. Но чем почтительнее был трактирщик, тем более горячился Демпоновский.

Лысков поднял окно и, облокотившись на подоконник, высунулся, с самым равнодушным видом следя за происходящей на крыльце сценой.

Трактирщик сильно жестикулировал и беспрестанно ворочал головой, как бы ища свидетелей своей невиновности перед паном Демпоновским. Не найдя, вероятно, никого достойным свидетельства вокруг себя, немец поднял глаза, видимо, чтобы призвать небеса

для своей защиты, и увидел выставившегося в окно Лыскова.

– Вот что! – обрадовался тогда он. – Может быть, кто-нибудь из господ постояльцев примет вас к себе. Вот, господин, благородный русский офицер, – и он указал кверху, на Лыскова.

Демпоновский поднял в свою очередь голову, и не то насмешка, не то удивление выразилось на его лице, когда он увидел и узнал Лыскова.

«Еще один! – подумал он. – Ну, однако, на меня серьезная охота!»

Тем не менее он очень радостно, даже более, чем это было необходимо, закивал Лыскову, как будто был весьма счастлив встретиться с ним.

Лысков ответил на поклоны Демпоновского с таким видом, как будто вовсе не был рад увидеть здесь кого-нибудь из знакомых.

«Шутишь! – опять подумал поляк. – Сейчас станешь звать к себе в комнату!»

– Ну, вот, – продолжал между тем трактирщик, – кажется, господа и знакомы к тому же. Ну, вот и отлично! – и он обратился к Лыскову

с просьбой пустить к себе нового приезжего.

– Но я не один, – ответил, не изменяя своему спокойствию, Лысков. – Я бы с удовольствием, но, к сожалению, не могу служить...

На этот раз Демпоновский прямо уже с удивлением поглядел наверх. Он никак не ожидал, что Лысков станет отказываться, и решил ни за что не идти к нему, если бы тот предложил ему воспользоваться комнатой; но к отказу он не был готов и потому не знал, что сказать.

Для Лыскова больше ничего не было нужно. Ему было важно узнать, как повлияла на Демпоновского встреча с Пирквицем, то есть действовал ли Пирквиц настолько неумело, что дал заметить польскому курьеру цель своей встречи с ним, или же поляк ничего не подозревает. Замешательство поляка служило признаком его подозрений.

«Пирквиц совсем дурак!» – решил Лысков.

– Но ваш товарищ, – заговорил опять трактирщик, обращаясь к нему, – только что уехал, я видел, как он сел на лошадь.

– Он вернется! – ответил Лысков.

– Нет, он сказал, что по счету следует полу-

читать с вас, – значит, не вернется. Вы можете оказать любезность вашему знакомому. И потом, ведь на самое короткое время.

– Мой знакомый, – перебил Лысков, – извинит меня и поймет, что, если бы я мог, я с удовольствием бы... Но, право, не могу... – и, поклонившись с любезной улыбкой в сторону Демпоновского, он опустил окно.

Он знал, что лишь отказ заставит поляка быть настойчивым и убедит его не бояться встречи с русским офицером, и расчет его сейчас же оправдался.

Трактирщик не замедлил явиться к нему с просьбой уже от самого пана Демпоновского: позволить ему не остановиться в его комнате, а только переодеться и умыться, чтобы затем ехать дальше.

Этого и ждал Лысков и поспешил дать свое согласие.

Демпоновский, казалось, несколько разуберился в намерениях Лыскова, но все-таки, войдя, начал разговор с того, что, по его мнению, довольно странно, как это Лысков, которого он видел только третьего дня на балу, вдруг очутился здесь, в трактире, далеко от

Петербурга.

– Отчего же странно? – ответил тот. – Я вас тоже видел на балу и тоже нахожу сегодня здесь, далеко от Петербурга, и вовсе не поражен этим. У всякого свои дела.

Но Демпоновский не успокоился на этом; он пожелал узнать, какое же дело могло привести сюда Лыскова.

Тот прищурился. Чем больше допытывался поляк, тем яснее становилось, как следовало держать себя с ним.

– Дело любовное, – ответил он, не смущаясь.

– А, а! – засмеялся Демпоновский, – кто ценстлив в амуре – не ценстлив в карты.[9]

Этот смех поляка и, главное, то, что сказал он, вдруг больно кольнуло Лыскова. Он отвернулся и замолчал.

Когда Демпоновский вымылся, ему принесли завтракать. Он пригласил Лыскова, но тот отказался.

Вообще, к вящему спокойствию поляка, этот офицер казался не в духе и не выказывал ни малейшего желания заводите беседу.

– Вот что разве, – вдруг сказал он, когда

Демпоновский, поев и выпив вина, пришел в благодушное состояние насытившегося после голода человека, – вот что: не попробовать ли нам счастья, – и он, подмигнув, жестом показал, как мечут карты.

В течение злополучного вечера у Дрезденши, когда Лысков проиграл Демпоновскому, он не мог не заметить его страсти к игре.

Поляк поджал губы. Соблазн был слишком велик.

«А что, может быть, опять повезет!» – мелькнуло у него, и он проговорил вслух:

– Это, значит, реванш?

– У меня карты с собой есть, – ответил на это Лысков и действительно достал карты.

При виде их Демпоновский не вытерпел и окончательно сдался, игра началась.

Замок барона Кнафтбурга

Чем дальше ехал Чагин по дороге, указанной ему Лысковым, тем она становилась пустыннее и непригляднее. Лес, сначала попадавшийся островками с прогалинами, мало-помалу сделался гуще; то и дело приходилось спускаться под гору и вновь подыматься, переправляясь вброд через ручьи, на которых не было и признака моста. Но Чагин ехал в первое время скорее с удовольствием, хотя ему и хотелось бы начать действовать непосредственно самому и жаль было, что пришлось оставить с Демпоновским Лыскова.

Однако свежесть утра, молодость, здоровье, и главное, сознание любви и счастья делали свое, и Чагин с застывшей на губах блаженной улыбкой, весело поглядывая по сторонам, продвигался вперед, не обращая внимания на пустынность местности.

Добрая лошадь шла бодро, то есть, вернее, Чагину казалось только, что она идет бодро и что ей так же очень хорошо и приятно, как и ему, но на самом деле, сделав несколько верст по отвратительной дороге, она, вероятно, не

отдохнув после вчерашнего перехода, вдруг потеряла эту свою напускную бодрость и, несмотря на понуждение, стала прихрамывать и вяло, еле-еле передвигала ногами.

Чагин напоил ее, переправляясь через один из ручьев, но и это мало помогло.

Заметив состояние лошади, он решил остановиться где-нибудь, тем более, что половина пути была уже сделана.

Впрочем, выезжая, Чагин не предполагал ехать все тридцать верст без отдыха, но, как на грех, до сих пор он не встретил мало-мальски сносного приюта, где бы можно было остановиться. Те немногие убогие лачужки под соломенными крышами, которые несколько раз попадались ему на пути, были до того невзрачны, что он не решался подъезжать к ним. Народа почти не было видно, а если и попадался навстречу кто-нибудь, то пугливо глядел на русского офицера и ускорял шаг, боясь, чтобы его не остановили. С тех пор как погустел лес, и лачужки перестали попадаться.

Но вот деревья начали редеть, дорога пошла ровнее, и Чагин снова выехал на откры-

тое, холмистое место, и к своему удовольствию увидел невдалеке внушительный, обнесенный каменной стеной, замок.

«И кому пришла охота строиться здесь?» – подумал Чагин и повернул лошадь прямо к замку, в сущности, очень довольный тем, «кому пришла охота строиться здесь».

Замок казался довольно обширным и, судя по его старым, обросшим мохом стенам, башням и бойницам, видимо, служил памятником давних времен. По мере приближения к нему Чагин, к своему удивлению, вместо того, чтобы легче понять расположение замка, все более и более терялся. Странно было, отчего тут, вблизи очевидно помещичьего жилья, не виднелось не только деревни, но ни одного домика, ни одной лачужки. Стены, выдвигавшиеся и ломившиеся неправильными углами, казалось, вовсе не имели ворот. Напрасно также Чагин оглядывался и искал наезженной или проложенной дороги, которая указала бы, куда ехать.

Наконец он набрел на след, похожий на дорогу и приведший его к воротам. Они были заперты.

Над аркой ворот на среднем камне был вырезан герб, изображавший голову козла, которая составляла со своими расходящимися в стороны рогами треугольник, опущенный вершиной вниз. Под гербом была лаконическая надпись: «Кнауфтбург».

Чагину пришлось довольно долго стучать, пока он добился какого-нибудь признака жизни по ту сторону ворот. Наконец чей-то грубый голос ответил ему, чтобы он проезжал мимо.

– Давно ли получают такой ответ здесь путешественники? – спросил, вспыхнув, Чагин, но ему еще грубее ответили, что тут не гостиница и что для всяких проходимцев нет тут места.

Казалось, Чагин пустил бы в ход свои пиштолеты, не будь между ним и говорившим преграды в виде толстых дубовых ворот; но в том положении, в котором находился он, оставалось лишь повернуть лошадь и уехать. И он, стараясь заглушить свою бессильную злобу неволью вырвавшейся у него бранью, повернул назад.

Лошадь нехотя поплелась шагом, Чагин не

погонял ее. Ему не хотелось удаляться от места, где была нанесена ему обида, словно он ждал кого-нибудь, на ком можно было выместить эту обиду.

И, как нарочно, он вдруг увидел приближающегося к замку, ему навстречу, человека; тот шел с непокрытой головой и держал в руках небольшую книгу, которую читал на ходу. «Это еще что?» – подумал Чагин, придерживав лошадь и вглядываясь в совсем особенное, черное, длинное одеяние шедшего к нему навстречу.

Он дал ему приблизиться к себе и, когда тот подошел, окликнул его и спросил по-немецки, возвышая голос:

– Вы, вероятно, из замка?

Черный человек вздрогнул и, приостановившись, поднял голову от книги. Лицо его было поразительно странно, в нем не было ни кровинки; но эта бледность не имела ничего общего с той сквозной, жалкой бледностью, какая бывает у изнуренных болезнью или горем людей. Напротив, толстые, словно распухшие щеки свидетельствовали скорее об излишестве, чем об изнурении, и блед-

ность их казалась какой-то иссиня-белой какая бывает у трупа, готового уже разложиться. Чувственные, совсем синие губы сжимались отвратительной складкой. Но всего неприятнее были глаза. Один из них казался меньше другого. Взгляд беспокойный, блуждающий, отталкивающий, поражал своими мутными, беспокойными зрачками, которые не могли как будто сразу остановиться на предмете, привлекая их внимание.

– Вы из замка? – отрывисто переспросил еще раз Чагин, на которого неприятное лицо подействовало окончательно раздражающе.

Черный человек, сдвинув брови, ответил:

– Я барон Кнафтбург, владелец замка.

Голос его, хриплый, глухой, был так же неприятен, как и все остальное.

– Так это вы даете приказание вашим людям обращаться так грубо с проезжими? – снова вспыхнул Чагин и тронул лошадь слегка вперед.

– Кто ты такой? – спросил в свою очередь барон, но бесстрашно и спокойно.

– Я русский офицер. Моя фамилия князь Чагин.

Барон вдруг весь съежился, втянул голову в плечи, руки его опустились, и книга выпала из них. Все тело его в каждом суставе задрожало.

– Вы военный, вы русский! – изменившимся, не своим голосом, совсем перешедшим в хрипоту, проговорил он. – Так... так... Сегодня Марс в созвездии моем в восьмом доме... Так говорят звезды... Они никогда не ошибаются... Но только напрасно вы думаете, что я погибну нынче от вашей руки, напрасно вы явились сюда; на то и знания, чтобы предвидеть... Нет, вы ничего не сделаете со мной! – ион, вытянув вперед обе руки и соединив их, направил прямо против Чагина. – Слышите, – продолжал он, – вы не убьете меня, потому что я сейчас велю схватить вас... Я знаю, что иначе погибну от вас... Звезды никогда не ошибаются...

Первым впечатлением, которое произвели на Чагина эти нелепые слова, было удивление, смешанное с любопытством. Он никогда до сих пор не видел сумасшедших, но по бессвязной речи, по глазам и по всему выражению барона ясно было, что тот не в своем уме.

И что-то жуткое, неприятное охватило сердце Чагина.

– Я вовсе не хочу убивать вас, – попробовал он было сказать барону.

Но тот выкатил глаза, отчего они стали у него действительно страшны, и потрянул несколько раз руками, делая ими, очевидно, таинственный знак.

– Молчи!.. Молчи! – задыхаясь повторял он и, отклонившись в сторону, вдруг кинулся к лошади Чагина, причем в руке его блеснуло острие выхваченного им из-за пояса ножа или кинжала.

Чагин выдернул пистолет и выстрелил в воздух.

В лесу

Когда рассеялся дым выстрела, барона уже не было перед Чагиным. Последний оглянулся по направлению к замку и увидел барона, бегущего туда со всех ног, со смешно развевающимися волосами и одеждой. Кнафтбург бежал без оглядки, и Чагин с улыбкой глядя ему вслед видел, как он добежал, наконец, до ворот замка, постучал, очевидно условленным стуком, и как отворилась и сейчас же захлопнулась небольшая, проделанная в воротах дверца. После этого барон исчез, и Чагин остался снова один среди поляны.

«И бывают же люди на свете! – пришло ему в голову. – Рассказать, так никто не поверит».

Он посмотрел еще раз назад все с той же улыбкой и хотел двинуться дальше, но тут на глаза ему попала брошенная Кнафтбургом книга.

Чем мог заниматься этот сумасшедший человек, какую книгу мог читать он, гуляя с непокрытой головой возле своего замка? Ча-

гин не утерпел, чтобы не слезть с лошади и не поднять книги.

Она оказалась старинной, писанной на пергаменте по-латыни. Чагин, не знавший этого языка, ничего не мог разобрать тут. Он перелистал несколько страниц и вдруг наткнулся на сделанную на полях, очевидно недавно, свежими чернилами, заметку по-немецки:

«Клад зарыт всего на одну голову!»

«Так вот оно что! – сообразил Чагин. – Нет, это положительно безумие. И как не обратят внимания!.. Впрочем, кому же здесь? Некому... Нужно будет дать знать в Риге или в Петербурге кому-нибудь».

И, бросив книгу на прежнее ее место, он вскочил на лошадь.

Он давно, еще в детстве, слышал, что клад, «зарытый на одну или несколько голов», значит, что для того, чтобы достать его, нужно было ни более, ни менее, как произвести на месте, где зарыт он, столько убийств, на сколько голов зарыт клад, и тогда он дастся.

«Да что же можно ожидать от сумасшедшего? – продолжал рассуждать Чагин. – Но

неужели он и в самом деле задумал отыскивать какие-нибудь клады с убийством? А почему знать? Нет, верно, кто-нибудь есть при нем... За ним смотрят».

Но вскоре он заметил, что едет, не управляя лошадью, по ее произволу, и она уже завезла его на опушку леса, и ему пришлось нагнуться, чтобы не задеть головой за сучья. И тут он только понял, что потерял дорогу и что нужно вернуться назад.

Он повернул. Из-за деревьев виднелся ему замок Кнафтбург. И вдруг Чагин увидел, что ворота его снова раскрылись и оттуда выехало несколько человек верхом. Впереди ясно выделялась черная фигура самого барона.

«Очевидно, в замке его не считали сумасшедшим и не смотрели за ним», как предполагал Чагин, а, напротив, слушались его и повиновались ему. По крайней мере, с того места, где стоял Чагин, видно было, как выехавший вперед барон отдавал приказания, кому куда ехать, и показывал рукой в разные стороны.

Через несколько секунд всадники разъехались по разным направлениям.

«Что ж, это погоня за мной? – решил Чагин. – Как это глупо, ах, как это глупо все! Но что же делать? Ехать самому к ним и убедить их, что я никому не хотел зла? Но разве тут мыслимы убеждения? А силой мне не одолеть их».

По счастью, в сторону леса, где был Чагин, никто не направился. Он постарался припомнить расположение местности: откуда приехал он и где находилась дорога. Ему показалось, что, если повернуть направо лесом, можно будет выбраться на нее. Он слез с лошади и, взяв ее в повод, начал осторожно пробираться между деревьями.

Сначала он думал, что очень скоро должен попасть на открытое место, но чем дальше шел, тем гуще становился лес и тем труднее, казалось, было держаться какого-нибудь определенного направления. Деревья были так похожи одно на другое, кустарник, наоборот, беспрестанно менял свой абрис, и трудно было узнать тот же самый куст с двух противоположных сторон. Все это ужасно путало и сбивало.

Вскоре Чагин потерял всякое представле-

ние о местности, сбился окончательно и пошел совсем наугад. Он начинал чувствовать голод; ноги устали, руки были исцарапаны ветками; лошадь с трудом пробиралась за ним, и нужно было понукать ее.

Чагин выбивался из сил, но все-таки шел вследствие какого-то дикого, глупого упорства, вместо того чтобы отдохнуть и сообразить, что делать. Он только повторял себе, что все это глупо, и сердился на себя, зачем ему было сворачивать с дороги к проклятому замку.

Главное, его бесила мысль, что как бы все хорошо было, если бы он не свернул: ведь он давно добрался бы до трактира и сидел бы себе в ожидании Демпоновского.

Ужас охватил Чагина при этом воспоминании. А что, как он уже опоздал? Что, как Демпоновский давно приехал, и Лысков, понадеясь на него, Чагина, спокоен теперь и думает, что все обстоит благополучно.

«И этого не мог сделать! – бесился на себя Чагин. – И с чего я наткнулся на этого барона?.. Ах, как глупо, глупо и глупо!»

И вдруг последний запас энергии оставил

его.

Судя по поломанным сучьям и по примятому кустарнику, он попал на собственный свой след – ясно было, что он кружит на одном и том же месте. Этого только недоставало!

Чагин остановился в отчаянии. Голова его горела, в виски стучало, ноги подкашивались и отказывались повиноваться. Он бессильно опустился на землю.

Сесть на мягкий слой палого листа было очень приятно. Но эта чисто физическая приятность оказалась непродолжительной. Нужно было все-таки дать ответ на мучительный вопрос: «Что же делать?» – а ответа на него не находилось. Чагин стал думать, но мысли его путались и голова болела.

Между тем почувствовавшая свободу лошадь, потому что Чагин, сев, выпустил ее, подняла голову, раздула ноздри и оглянулась умными, словно понимающими положение глазами. Чагин посмотрел на нее и вспомнил, что даже в метель, во время снега полагаются на чутье лошадей и они выводят всегда к жилю.

«И как этого не пришло мне в голову раньше?» – подумал он и, вскочив на ноги, остановился, ожидая, куда повернет сама лошадь, готовый следовать за ней.

Та точно, действительно, поняла его намерение и двинулась.

Через некоторое время они очутились в странной части леса. Деревья и здесь были похожи на прежние, но бросалась в глаза одна особенность: среди неправильно и беспорядочно растущих деревьев четко выделялись два параллельных ряда берез, словно недавно еще была тут просека, обсаженная этими березами и заросшая затем поднявшимися, как бы по чьему-то мановению, капризно изломанными стволами не саженого человеческой рукой леса. Чем-то сказочным, небывалым веяло от этого места.

Чагин огляделся, соображая, что он попал на очевидно забытую, давнишнюю, заброшенную аллею, и направился вдоль по ней.

Но в это время вдруг раздался свист, перекатился по лесу, ему ответил другой, кусты зашевелились, кто-то кинулся на Чагина, и он почувствовал сильный удар в голову, оглу-

шивший его.

Старый знакомый

Чагин очнулся, решительно не имея понятия, сколько прошло времени с тех пор, как он упал в лесу, сбитый неожиданным ударом. Теперь он лежал навзничь в подвале, на соломе, с крепко связанными назад руками, неловко придавливая их тяжестью своего тела.

О том, что он лежит в подвале, он догадывался лишь по особенному, свойственному только подземелью запаху и промозглой сырости, но видеть ничего не мог, потому что кругом стоял мрак.

Первое усилие, которое он сделал, было, разумеется, высвободить руки, но они оказались слишком крепко прикрученными. Тогда Чагин попробовал повернуться на бок, но и это удалось ему не сразу. На боку было так же неловко, как и на спине, но зато можно было увидеть небольшое отверстие справа, наверху в стене, почти под самым сводом. Это отверстие, очевидно, служило когда-то окном, но теперь казалось просто дырой, пробитой между полуразрушенными кирпичами. Через

него глянуло темное небо с маленькой блестящей звездочкой. На дворе стояла ночь или, во всяком случае, поздний вечер.

Чагин никак не мог представить себе, что все то, что произошло, случилось именно с ним, Чагиным, который так недавно еще в новом мундире танцевал на балу у Трубецких со своей Соней и так безумно был счастлив. Неужели, на самом деле, это он сам лежит почему-то здесь, в темноте, со связанными руками? Как попал он сюда, зачем, кто его схватил и что с ним будут делать дальше? И неужели посмеют оставить его так?

«Ну, это им даром не пройдет... не пройдет! – стискивая зубы, думал Чагин, уверенный, что захвачен слугами барона и находится теперь в подвале его замка. – Не дадут же так пропасть офицеру... Я им скажу, что у меня есть поручение, что они могут ответить... Ну, хорошо же!.. Посмотрим! – и он сделал новое усилие пошевелиться и, двинув случайно головой, почувствовал боль в шее. – Ну, хорошо же!» – снова повторил он себе.

Наверху, на земле, слышался шум, словно от топота лошадиных подков; кто-то подь-

ехал и соскочил. Через секунду послышались голоса.

Чагин старался прислушаться, но говорили на непонятном ему языке, судя по звукам, латышском. Сначала один голос рассказывал что-то, потом другой переспросил несколько испуганно и удивленно, затем опять заговорил первый, будто оправдываясь и снова начиная рассказывать.

Чагин не сомневался, что это говорят про него. Так как сам он не мог теперь ни о ком думать, кроме себя, то невольно переносил это и на других людей, которые должны были, разумеется, заниматься его исключительным, из ряда вон выходящим положением. Но говорили, действительно, вероятно про него. По крайней мере, голоса стали приближаться, и вслед за тем где-то сзади, в головах, послышались шаги, потом шорох отодвигаемой доски, и в подвал кто-то влез.

Чагин увидел наклонившуюся к нему бородатую, нечесаную голову и проговорил слова, вертевшиеся у него на языке:

– Вы ответите за то, что сделали со мной; я русский офицер.

Несмотря на то, что эти слова были сказаны по-немецки, латыш не обратил на них внимания и, обернувшись, сказал что-то по-своему назад громко, тоном, по которому можно было догадаться, что он дает знать о том, что Чагин очнулся. Снаружи ответили в тоне приказа. Тогда латыш на ломаном немецком языке сказал, чтобы Чагин встал, и помог ему сделать это.

Молодой офицер с трудом поднялся, и его вывели наверх, на воздух, по развалившейся лестнице.

Все еще воображая, что он имеет дело с людьми барона Кнафтбурга, Чагин думал, что очутится на дворе замка, но, когда его вывели, он сразу не мог ни понять, ни сообразить. Вместо стен и башен замка кругом стоял лес.

Чагин оглянулся в недоумении, не сон ли это, не во сне ли видит он эти деревья, покачивающие свои, как темное кружево, ветки, чернеющие причудливым узором на фоне звездного неба, а внизу – развалины старого дома, превратившегося в груды кирпичей и мусора. Он стоял среди этих развалин, от которых, по-видимому, уцелели одни только

подвалы, и чувствовал, как по-прежнему жала ему руки веревка; значит, он не грезил, и все это было наяву.

Бородатый латыш, выведший его наружу, был совершенно незнакомый, но зато другой, к которому его вывели, удивительно был похож на кого-то, кого знал Чагин. Казалось, вот только заговорит он, и Чагин узнает его тотчас.

И латыш действительно заговорил и назвал Чагина по имени.

– Паркула! – вырвалось у того в свою очередь. – Ты как сюда попал?

Но Паркула, которого, благодаря его отросшей бороде, трудно было узнать сразу, вместо ответа, бросился развязывать руки Чагина. Узлы веревок не поддавались. Паркула перерезал их и, путаясь и торопясь, все повторял только: «Пожалуйста, ваше высокоблагородие, пожалуйста сейчас... сюда... сюда...» Затем, указывая дорогу, он свел Чагина вниз, но не в прежний подвал, а в другой, совершенно непохожий на прежний.

Здесь было два окна со стеклами. Паркула тщательно закрыл их и зажег свечку; она бы-

ла восковая, в тяжелом, бронзовом подсвечнике. Эта свечка и обстановка, которую она осветила, представляла странную смесь роскоши с самым жалким убожеством. На полу, у дверей, лежала рогожа, но тут же на стене висел дорогой ковер с целым арсеналом оружия, размещенным в полном беспорядке. Простая дощатая кровать была покрыта шелковым стеганым одеялом; у кровати стоял стол карельской березы, со сломанной и замененной простым чурбаном ножкой. На столе виднелись стаканы, бутылки и серебряная миска с крышкой.

– Простите, ваше высокоблагородие, – не переставая говорил Паркула, – меня целый день не было, а это вот мои молодцы все сделали. Я не виноват; если бы я только был сам, ничего такого не было бы. Я только вот приехал сейчас... Да вы присядьте, ваше высокоблагородие!

И, говоря это, он суетился и хлопотал, наскоро прибирая лишние вещи и стараясь главным образом посредством этой суетни прийти, хотя несколько, в себя от обуявшего все существо его смущения.

Сорвавшееся у него выражение «мои молодцы» сразу объяснило все Чагину, понявшему многое уже и по обстановке, в которой жил Паркула.

– Как же это ты живешь тут? – спросил он наконец, опускаясь на скамейку и чувствуя особенное удовольствие, что может двигать свободно руками. – Как же это ты? Каким делом занимаешься?

Дело, которым, очевидно, занимался Паркула, беглый, беспаспортный солдат, было в то время далеко не из ряда вон выходящим. Под самым Петербургом, под боком центра власти, и там «шалили», как говорилось, и преспокойно орудовали целые шайки, так что об остальной России и говорить было нечего.

– Никак невозможно было, ваше высокоблагородие, – начал Паркула, не давая прямого ответа на вопрос Чагина, – никак невозможно. Как вы изволили уезжать тогда из нашего полка, то говорили, что меня непременно переведут из штрафных. Оно и точно, пока вы были – все легко жилось, ну, а зато как уехали, просто жисти не стало, прапорщик

Пирквиц прохода не стали давать... Драли сильно... походя драли... Да и сами, уезжая, такую рекомендацию дали обо мне новому офицеру, что выправиться и думать нечего. Они, видно, только вас и боялись... Ну, а потом: «Не только, – говорит, – я тебя из штрафных не переведу, а за твои все дела быть тебе сослану».

– Неужели? – невольно перебил Чагин.

– Как пред Богом, истинную правду вам говорю, а сами знаете, ваше высокоблагородие, я ни в чем виноват не был... ни в чем...

Чагин был вполне уверен, что Паркула не был виноват, и, зная Пирквица, должен был почувствовать, что и то, что рассказал про него Паркула, была истинная правда. И первое чувство отталкивающей брезгливости, которое он ощутил к бывшему солдату, увидя его теперешнее ремесло, смягчилось в нем.

– И что же, ты начальствуешь здесь? – спросил он опять.

– Думал я, думал, – продолжал Паркула, стараясь не говорить о настоящем и снова сводя речь к прошлому. – Что мне делать? Все равно не жилец я. Ну и побег. А тут места зна-

комые... Здесь вот так и случилось все...

И, не договорив, Паркула опустил голову и потупился.

– А как же тебе не боязно грех на душу брать? – проговорил Чагин.

– Все мы грешны, – вздохнул Паркула. – А, может, без меня-то тут куда хуже было бы... вот хоть бы ваше высокоблагородие теперь...

– А может, и я у тебя не в безопасности?

– Нет-с, уж это будьте покойны! Во всю свою жизнь я только и видел добра, что от вас, только и видел, – волнуясь повторил он. – Век не забуду, что от шпицрутенов вы меня избавили... Жизнь свою положу за вас, а не то что так. Позвольте, ваше высокоблагородие, – добавил вдруг Паркула, видя, что Чагин оглядывает себя и ощупывает свои карманы, – позвольте, я сейчас...

И он выбежал за дверь.

У Чагина, оказалось, все было отобрано, но не прошло и нескольких минут, как Паркула вернулся со всеми его вещами. Они все были в целости, даже в кошельке все деньги оказались налицо.

– Все ли здесь? – спросил только Паркула.

Чагин кивнул головой.

Паркула отошел в сторону, к двери, и замялся. Видимо, он еще хотел что-то сказать или сделать.

– Ваше высокоблагородие, – наконец нерешительно произнес он, – может быть, вам угодно покушать что?

Чагин улыбнулся этой нерешительности; вспомнил, что он в течение всего дня ничего не ел, и сообразил, что слабость, которую он ощущал теперь во всем теле, вероятно, была следствием голода.

Паркула принял эту улыбку за согласие, снова захлопотал, и в этих его хлопотах проглянула странная смесь прежней солдатской его выправки, пробудившейся в присутствии бывшего его офицера, и привычки к властвованию и сознания собственного значения, приобретенных, вероятно, впоследствии. Он всеми силами старался услужить Чагину, как бы силясь загладить перед ним то свое положение, в котором застали его.

Выстрел

Ехать немедленно дальше, как предполагал Чагин, оказалось невозможным – его лошадь была в таком состоянии, что нельзя было и подумать двинуться сейчас.

Паркула не предложил своей, и на вопрос, нельзя ли достать, сказал, что хотя и можно, но опасно для самого Чагина, потому что лошадь, которую дадут ему, наверное, будет узнана в околотке, и тогда могут выйти для него неприятности. Волей-неволей приходилось ждать. Чагин решил остаться еще на несколько часов в притоне, в который завела его судьба. Делать было нечего.

Паркула очистил для него свое собственное подземелье, сказав, чтобы о нем не беспокоились и что он придет повидаться перед рассветом, и посоветовал Чагину уснуть.

Но тот не мог и подумать о сне. Все, что с ним произошло, было до такой степени неожиданно, несуразно, что трудно казалось сразу разобраться во всем этом. Сначала встреча с бароном, затем боязнь погони, потом это приключение с Паркулой...

«Одно хорошо, – подумал почему-то Чагин, и это его успокоило на минуту, – что у него тут образ висит...»

У Паркулы действительно висел образ в углу.

«Боже мой! – продолжал думать Чагин. – Только бы выбраться отсюда! И, если Лыскову удалось задержать Демпоновского, тогда все хорошо будет».

И его мысли беспрестанно стали перескакивать с одного испытанного им в течение дня впечатления на другое, и каждый миг находился новый предмет – этих впечатлений было слишком много.

К тому же голова Чагина горела, как в огне, и болела.

Было ли это следствием усталости, или удара, который он получил днем, или подействовал на него так стакан вина, которым угостил его Паркула, или, наконец, просто в этом завешанном коврами подвале было душно, Чагин не мог отдать себе отчета, но, чтобы отделаться от этой боли, он решил выйти на воздух, и открыл дверь.

Оказалось, подземелье Паркулы не непо-

средственно сообщалось с выходом наружу. Нужно было миновать темный проход, которого Чагин не заметил, когда входил сюда, и затем уже начиналась лесенка наверх. Чагин, поднявшись на ступени, остановился и сел.

Тихая, осенняя ночь стояла над лесом. Вверху безмятежно и приветливо сияло ясное, усыпанное звездами небо. Темный, непроницаемый пояс деревьев, еще не оголенных дыханием осени, как рамой, окружал поляну, где, тушуясь в ночном сумраке, виднелись остатки фундамента развалившегося до основания дома. Видно было, что это место давно заброшено, потому что и березовая аллея, очевидно, ведшая сюда, и сами развалины успели заросли деревьями и кустарником.

Кругом было тихо и как-то таинственно жутко, и странно было думать Чагину, что здесь, в этом одиноко пустынном месте, где он сидел теперь и где, по-видимому, никого и ничего не было, есть люди, есть его лошадь, спрятанная куда-то, и что эти развалины не немые, не неподвижные, а что под ними, в земле, гнездится жизнь, и стоит только свистнуть – как кругом, словно мертвецы из могил,

вырастут «молодцы» Паркулы. Но, несмотря на это, звезды в своей беспредельной высоте мигали так ласково и разгорались так спокойно, словно отсюда не мог их подстеречь глаз человека.

Ночной холодок пронимал порядочно, но Чагину нравилось это. И ни шороха, ни звука, обличающего чье-нибудь присутствие.

Пространство, занятое фундаментом развалин, было настолько велико, что, если под ним сохранились подвалы, в них могло поместиться достаточное количество людей.

Углубление лестницы, где сидел Чагин, приходилось вблизи одного из углов основного квадрата разрушенного здания, и от него можно было видеть всю площадь, покрытую фигурно причудливыми кучами мусора, камней и кирпичей, в немногих местах сохранивших подобие остатков стен. По самой середине росло большое развесистое дерево.

Кажется, Чагин занят был соображением, каким образом держалось это дерево корнями, если под ним был камень, когда вблизи дерева тихо, неслышно – должно быть, из-под земли – показались две фигуры, которые мож-

но было лишь по их движениям отличить от остальных черных пятен, темневших кругом. Эти две фигуры несли что-то длинное, завернутое, но живое, тоже двигавшееся. Казалось, это был человек, сопротивляющийся слабо, через силу против того, что намеревались делать с ним.

Чагин, не дыша, вытянул шею и с сильно забившимся сердцем следил за происходящим перед его глазами. Фигуры отошли от дерева несколько в сторону, и их стало видно яснее. Это были два человека, и, несомненно, они несли завернутого третьего. Они огляделись и, словно ища определенного места, отодвинулись еще правее.

Рука Чагина бессознательно ухватилась за пистолет.

«Что бы ни было, – мелькнуло у него, – если они... в самом деле... Я не дам им...»

Люди опустили свою ношу на землю. Один из них стал спиной к Чагину, другой – лицом (но лица его нельзя было разобрать), и затем послышался мерный, негромкий голос, начавший говорить нараспев.

Почему-то Чагину ни на минуту не при-

шло в голову, что, может быть, он имеет дело с видением, – он был как-то странно уверен, что это настоящие, живые люди, и потому спокоен, но это спокойствие было страшно, и от него захватывало дух и билось сердце.

Тот, кто стоял лицом к Чагину, был виден лучше.

«Так и есть...» – чуть не в слух проговорил Чагин, увидав, что в руке этого человека блеснуло лезвие.

– Что вы делаете, бросьте! – не узнавая своего голоса, крикнул он, то есть не крикнул, а как-то сразу, точно в один звук, слились эти слова.

Вслед за тем один из людей кинулся в сторону, но другой, словно боясь упустить минуту, взмахнул рукой с тем самым движением, с которым бросился барон при сегодняшней встрече, и Чагин, сам не сознавая, что делает, не целясь, выстрелил.

Звук выстрела оглушил его и раскатился по лесу.

Клад

По выстрелу Чагина, словно по волшебству, Пожили безмолвные груды пустыря и наполнились народом. Невнятный говор раздался кругом и слился в шипящий гул шепота – тот гул, который слышится больному в бреду. Говорили вполголоса, шептали, двигались и мало-помалу толпой стягивались к тому месту, где стояли люди, в которых стрелял Чагин.

А тот все еще держался на своей лестнице, не зная, что он сделал. Идти туда, к остальным, он почему-то не шел и даже старался не смотреть в ту сторону, но все-таки видел все, что там происходило. Он видел, что подхажившие наклонялись, размахивали руками, и говор их усиливался.

«Неужели я убил человека? – как молотом стучало в его ушах. – Неужели там лежит он... и они видят и сейчас подойдут ко мне, и я им должен буду отвечать... и они спросят?.. Кто они? Боже мой... где я и что я сделал!.. Что я сделал!»

И ему казалось, словно он теряет сознание

действительности, и это не он уже, а другой кто-то, и оба они стояли где-то высоко, но все рухнуло, и они летят вниз – в мрак, в бездну, откуда выхода нет... И ужас, беспредельный ужас охватил его.

Но вот Чагин разглядел, что перед ним стоит Паркула и растерянно говорит что-то, Чагин с трудом силился понять его.

– Там барона убили, – прерывистым голосом сказал Паркула. – Как он появился здесь?.. Кто стрелял в него?..

«Да, да, – подумал Чагин. – Я тоже стрелял в барона, но это было там, в поле у замка, а здесь... Боже мой!..»

– Ваше благородие, это вы стреляли? – спросил опять Паркула.

Чагин увидел в своей руке пистолет, из которого выстрелил, и ответил:

– Да... я стрелял.

– Так как же он прошел сюда?

– Кто «он»?

– Барон из замка, барон...

– Барон? Какой барон? – протянул вдруг Чагин, приходя в себя и начиная сознавать то, что ему говорили.

Паркула объяснил, что там только что скончался убитый наповал барон Кнафтбург и что он упал рядом с закутанной в черную материю женщиной, у которой ноги и руки связаны и рот заткнут платком.

– А у него в руках есть что-нибудь, нож, кинжал? – спросил Чагин, не отдавая себе еще отчета, сам ли это он спрашивает, или кто-нибудь другой говорит за него.

Паркула сказал, что есть.

«Клад зарыт всего на одну голову!» – вдруг вспомнилась Чагину надпись, сделанная на книге барона, и снова ему показалось, что это не он, а другой кто-то вспомнил за него.

– Да, пойдём, – решительно сказал он Паркуле. – Я все расскажу, как было.

И, подойдя к месту, он с удивительным, неизвестно как и откуда взявшимся у него хладнокровием, подробно рассказал, как он сидел, как увидел вышедших двух людей (он показал место, откуда они вышли), как они потом тащили свою ношу, положили ее и... но то, что было потом, он не мог уже рассказывать.

– Ну да, я выстрелил, – сказал он, – но не

хотел убить его. Он сумасшедший был, я его встретил сегодня...

И опять хладнокровно Чагин передал все относительно своей встречи с бароном и надписи в его книге.

Понять остальное было нетрудно, очевидно, между замком и старыми, принадлежавшими к нему развалинами, существовал ход под землей. Развалины считались нечистым местом, может быть, по вине компании Паркулы. Барон пришел в эту ночь добывать клад; по преданию зарытый здесь, пришел не один и хотел выполнить безумное требование, поставленное условием для добывания клада.

Подземный ход был известен Паркуле. Посланные туда люди нашли там лежавшего ничком человека. Это был один из старых слуг барона. Но добиться связной речи от него не могли. Рассудок окончательно оставил его под влиянием пережитого испуга.

Все это придавало естественное объяснение случившемуся, однако Чагин успокоился, или, вернее, не успокоился, а хотя несколько примирился с происшедшим, когда поближе

рассмотрел ту, «головой» или жизнью которой барон хотел купить себе золото клада.

Ее развязали, вынули платок изо рта и отнесли в землянку, предоставленную Паркулой Чагину. Ее черные, густые волосы рассыпались волнами, когда ее уложили в постель, и еще резче выказали бледность ее неподвижного, красивого личика. Тяжелые бархатные ресницы не поднимались, девственно-нежные губы так и оставались полуоткрыты.

Чагин, никогда не видевший обморока, сначала подумал, что спасенная от барона женщина умерла, но вскоре сумел распознать слабое биение ее сердца. Он остался с нею и, как умел, пробовал привести ее в чувство.

Пока он возился у ее кровати, Паркула несколько раз входил и выходил снова, видимо, занятый распоряжениями там снаружи, и, приняв как бы деятельный вид, при котором потерял прежнее свое смущение перед Чагиным, – короткими фразами, урывками между делом, сказал, что ход под землей к замку будет завален, барона вынесут на дорогу или к замку и оставят его там, всунув ему в руку пи-

столет, чтобы было похоже на самоубийство. Потерявшего рассудок старика, сообщника Кнафтбурга, выгонят тоже к замку.

– А что с ней делать? – кивком головы показал он между прочим на девушку.

– Прежде всего нужно ее привести в чувство, – ответил Чагин. – Дай воды еще... Да укуса нет ли?

Паркула подошел к кровати, поправил руку девушки и приложил руку к груди ее.

– Очнется, – протянул он, – сейчас сюда приведут женщину, которая знает, она и устроит все... я послал... А то вам несподручно...

Чагин с удивлением поглядел на Паркулу, распорядительность которого поистине казалась поразительной. Тот действительно преобразился весь, когда пришло время ему показать себя.

«Ого, я и не знал тебя таким!» – невольно подумал Чагин.

И все делалось у Паркулы живо и проворно.

Женщина-латышка явилась почти сейчас же и принялась по слову Паркулы ухаживать

за больной.

Глядя, как она умело и ловко принялась за это дело, Чагин не стал сомневаться в благополучном исходе ее стараний.

Но самому ему тоже хотелось двигаться и действовать. Под влиянием всего случившегося он находился в том неудержимом подъеме сил, который всегда следует за большим нравственным потрясением. И, не зная, куда еще приложить эти силы, он, стараясь если не делом, то хоть словами заглушить свою внутреннюю тревогу, стал говорить Паркуле, что девушку он берет под свое покровительство, что теперь ему нужно ехать, но что он завтра же пришлет за нею или через несколько дней, а может быть, и завтра сам приедет.

– А это что у тебя? – спросил он вдруг Паркулу, видя, что тот бросил на стол какие-то бумаги и пакеты, только что принесенные им.

– А это вот молодцы на дороге курьера схватили, только что привели... Я его самого потом посмотрю – теперь хлопот много... А это его бумаги.

Паркула, видимо, не стеснялся теперь с Ча-

гиным. Но это отсутствие стеснения не покорило последнего, потому что он не успел заметить его. Он вздрогнул при слове «курьера», схватил пакеты и стал разглядывать их.

– Послушай, Паркула, – заговорил он, – это польский курьер? Это его бумаги?

– Не знаю, кто он... Бумаги его...

– Да, да... это польский курьер, тот самый, которого я ищу... то есть... ну да, это все равно... Послушай, Паркула, ты отдашь мне эти бумаги?..

По ясно обозначенным адресам на пакетах нельзя было сомневаться, что эти пакеты те самые, которые должен был везти Демпоновский.

При виде их Чагин все забыл: и свой выстрел в барона, и спасенную им девушку, и все тревоги минувшего дня. Он даже не вспомнил, каким путем попали бумаги сюда на стол перед ним. Впрочем, ему было в данный момент решительно безразлично, каков был этот путь, раз цель, ради которой он ехал с Лысковым, была достигнута.

Недаром говорил Лысков, что случай должен их выручить. Более случайного обстоя-

тельства нарочно придумать, казалось, невозможно. И как это все вышло! В ту самую минуту, когда Чагин менее всего ожидал, что дело их увенчается успехом, когда он готов был даже считать все погибшим, потерянным, тут-то, как нарочно, и вышло все к лучшему.

– Ну, если лошадь мало-мальски в исправном виде, я еду сейчас, – сказал он Паркуле.

Паркула

Лошадь оказалась настолько отдохнувшей, что без всякого опасения на нее можно было садиться и ехать. Когда Чагин вышел из подземелья, она стояла оседланная и вычищенная, с тщательно обернутыми нижними суставами передних ног.

– Будьте спокойны, лошадь поправлена, – сказал Паркула, провожая Чагина.

Развалины опять приняли свой прежний безмолвный, тихий вид, словно ни души тут не было человеческой. Опять небо безмятежно смотрело сверху, и деревья и камни чернели внизу. Но Чагин инстинктивно отвернулся от той стороны, где было развесистое дерево; для него этот пустырь не казался уже таким, как прежде. Он оставлял здесь тяжелое, неприятное воспоминание.

Лошадь держал под уздцы тот самый человек, бородатое лицо которого наклонилось над Чагиным, когда он связанный лежал в подвале. Чагин улыбнулся и кивнул ему, как знакомому.

– Так насчет девушки вы изволите позабо-

титься? – продолжал Паркула, так спокойно, как будто давным-давно привык к происшествиям, подобным случившемуся сегодня ночью. – Скоро светать станет, – добавил он, взглянув на восток, где небо заметно посветлело.

– Да, да, я распоряжусь, как сказал, – ответил Чагин. – Только как найти тебя?

– У ручья при въезде в лес есть лачужка; пусть остановятся у нее и скажут, что от вас; там будет человек ждать.

– А что, девушка очнулась, кажется?

– Как мы уходили, так глаза открыла... Ничего! Перепугали ее вот и только, а то что же ей сделается?

– А собой она красавица? Кажется, очень хороша?

– Ничего! – протянул Паркула и зевнул.

– Послушай, Паркула, – не совсем твердо спросил Чагин, – а она тут будет в безопасности?

– Никто не тронет! – серьезно ответил тот.

– Я про тебя не говорю, ну а молодцы?

– И молодцы не тронут.

Чагин расспрашивал и медлил садиться на

лошадь главным образом потому, что у него все время вертелся на языке другой, беспокоивший его, вопрос, который он и хотел выяснить, и боялся, и не знал, как это сделать.

Все время, с тех пор как он узнал, что находился в руках «своего», то есть бывшего своего, подчиненного Паркулы, ему и в голову не приходило, что тот его не выпустит. Он знал, что может уехать, когда лишь пожелает и когда лошадь оправится. Но теперь, уезжая, он в первый раз подумал о том, что должен был испытывать Паркула, отпуская его.

Судя по виду, тот отпускал и не боялся, что его выдадут.

Правда, залогом к молчанию со стороны Чагина должны были, между прочим, служить пакеты, которые он увозил с собой, вследствие чего становился до некоторой степени причастным к делу, составлявшему ремесло Паркулы. Это было, может быть, даже более чем неприятно, но так складывались обстоятельства и казались неизбежным, неустранимым злом.

С отталкивающим чувством к этому «неизбежному злу» еще можно было совладать, по-

тому что другой выход, то есть донос, казался еще большим злом, невозможным, бесчестным предательством. А другого выхода не было и выбирать было не из чего. Приходилось стать или укрывателем, или доносчиком.

В этом отношении Чагин не колебался ни минуты, но ему все-таки хотелось узнать, кого он укроет и насколько нравственный облик Паркулы способен извинить или оправдать такое укрывательство.

Он увозил с собой бумаги польского курьера, но судьба самого Демпоновского, который находился, вероятно, поблизости тут, беспокоила его. И вот именно поэтому Чагин медлил садиться на лошадь и вместе с тем не решался спросить, так как боялся получить ответ, услышать который ему не хотелось.

– А ты знаешь, – занося ногу в стремя, сказал он, – ведь этот курьер довольно важный человек, бумаги его очень важные. Ты что с ним намерен сделать?

– Да что? То, что всегда, – усмехнулся Паркула.

Чагин быстро опустил ногу снова на землю.

– То есть как, что всегда. Это что же?

Холодная дрожь пробежала у него по спине.

– Уж конечно ребята разберут все у него, ну, а потом, к утру, вынесут на дорогу и положат.

– Живого? – через силу выговорил Чагин.

– Кто же его убивать станет?

Чагин почувствовал облегчение.

– И ты не врешь? Всегда так делаешь?

Паркула пристально посмотрел прямо в глаза Чагину. Губы его слегка улыбнулись.

– Всегда, – сказал он.

Не как сам ответ, как выражение и, главное, пристальный, открытый взгляд убедили Чагина.

– Ну, а если они станут жаловаться?

– И жалуются!

– Ну, и тогда как же?

– Ну, тогда... ищи ветра в поле!..

– Так разве трудно найти вас? Ведь дорога отсюда близко?

– Верст пять будет, лесом.

– Однако ведь вот хоть бы этот, – Чагин ударением и кивком головы дал понять, что

он говорит про Демпоновского, – ведь он тут у вас, он может показать.

– Вот вы сейчас поедете отсюда, – твердо проговорил Паркула и указал на одного из своих людей, – он вот вас провожать пойдет; поедете с открытыми глазами, а назад захотите вернуться, так запутаетесь.

Чагин вскочил на лошадь.

– Слушай, Паркула, – обернулся он в последний раз к нему, – неужели вы и с бедным народом так поступаете?

Паркула нахмурился еще больше, но, словно понимая тайный смысл расспросов Чагина и необходимость отвечать ему, все-таки произнес:

– Мы своих не трогаем.

– Да я не про «своих» говорю, а про бедный народ.

– Здесь только латыш и беден.

Счастье обманчиво

Проводник Чагина, несмотря на сумерки за-рождающегося утра, благополучно вывел его на дорогу и, показав рукой направление, по которому следовало ехать дальше, снял шапку и отвесил низкий поклон на прощанье, дабы дать этим понять, что возложенные на него по отношению к Чагину обязанности окончены. Чагин кинул ему рубль и в самом отличном настроении поехал дальше.

Это отличное настроение появилось теперь в нем потому, что, расставшись с Паркулой и, главное, оставив его притон, он перестал думать о случившемся и мысли его направились на будущее.

А будущее сулило одно только благополучие. В самом деле, цель путешествия была достигнута – польские бумаги лежали в кармане Чагина, – и достигнута благодаря ему лично; недаром он надеялся так на это и ждал этого.

И о чем теперь не думал Чагин в будущем – все казалось хорошо и обо всем было приятно подумать. Он приедет сейчас в трак-

тир «Корма корабля» и Лысков, встретив его, удивится, когда узнает, что бумаги тут – вот они! Они отправятся в Петербург... Или нет, Лысков должен будет один везти эти бумаги и там сказать, что главным образом действовал Чагин, а самому ему нужно будет позаботиться об этой девушке.

А потом, в Петербурге, когда он наконец снова увидится с Соней Арсеньевой, как хорошо и как весело будет!

«Теперь офицерский чин уже вне сомнения, – думал Чагин, – он тут вот, в кармане!»

И сознание довольства и удачи не покидало его.

Солнце вставало уже, когда он подъехал к распутью, где стоял трактир.

Жизнь здесь только что просыпалась. Окна были еще закрыты, но деятельный немец-хозяин поднялся уже и стоял на крыльце в холстинном своем халате и ночном колпаке.

Чагин издали заметил его, и толстая фигура немца показалась ему особенно симпатичной, главным образом потому, что помимо всех радостей явилось еще новое сознание, что наконец сейчас можно будет хорошенько

вымыться и лечь отдохнуть после бессонной ночи.

– Вот как? Вы уже встали? И не боитесь утреннего холода? – спросил Чагин, подъезжая к крыльцу.

Немец ответил приветствием и добродушной улыбкой и сказал, что не боится холода, так как привык.

«Будить Лыскова или не будить?» – рассуждал Чагин между тем, слезая с лошади, и, несмотря на знакомую ему любовь Лыскова ко сну, все-таки решил разбудить его.

– А что, мой товарищ спит еще? – спросил он.

Трактирщик приподнял колпак и, видимо, не расслышав, расплылся только своей широкой улыбкой.

Чагин повторил вопрос.

– Ваш товарищ? – удивился трактирщик. – Да он давно уехал.

– Как? Давно уехал?

– Да-а, и все заплатили по счету очень щедро.

– А люди, которые были с нами?

– И люди уехали.

«Экая досада! – подумал Чагин. – Неужели придется мне ехать за ними?»

– Ну, а тут, – проговорил он снова, – приехал к вам один польский господин. Что, он виделся с моим товарищем? Они говорили?

– О да, они виделись! Не знаю только, много ли говорили они?

– Вот как? Отчего же не знаете?

– Потому что они целый день играли в карты.

– Ну а потом что?

– Потом польский господин уехал очень сердитый и очень торопился. Я думаю, он проиграл... А после него почти сейчас же уехал ваш товарищ.

«Так и есть, – сообразил Чагин, – ведь так мы и условились. Какую же я, однако, глупость сделал! Нужно было ехать прямо в другой трактир».

И, досадуя на себя за эту нерасчетливость, он, чувствуя однако, что не способен теперь же ехать дальше, попросил трактирщика прислать кого-нибудь взять его лошадь, потому что ему хочется скорее пройти в комнату, чтобы вымыться и лечь спать.

– Но у меня комнаты нет, – ответил трактирщик с видимо давно сделавшейся ему привычной интонацией сожаления, с которой он обращался в таких случаях к проезжающим.

– Как нет? А та комната, где мы стояли?

– Занята; еще вчера вечером ее занял тоже господин русский офицер. Он приехал и занял. У меня очень трудно занять отдельную комнату, потому что мое заведение известно по всей дороге.

– Но что же я буду делать? – перебил Чагин, которого нисколько не интересовала известность заведения трактирщика.

«И как все только что хорошо было, – мелькнуло у него, – и вдруг пошли какие-то задержки!»

И ему невольно вспомнилось, как тогда, на балу, тоже сначала все хорошо было, а потом вдруг чуть не погибло дело.

«Нет, не смей думать так! – сейчас же остановил он себя. – Что же теперь может случиться? Все хорошо и нечего беспокоиться; жаль только, что отдохнуть негде».

– Пока пожалуйста в общую комнату, –

предложил трактирщик, – а там, может быть, устроим что-нибудь.

Делать было нечего, пришлось идти в общую комнату и, вместо отдыха, мытья и завтрака, довольствоваться одним только завтраком.

Чагин спросил себе яиц всмятку, масла, сыру, холодную жареную курицу, вообще все, что было под рукой, и расположился завтракать, не столько потому, что ему хотелось есть, сколько для того, чтобы занять едою время.

Яйца были съедены и от половины курицы остались уже одни кости, как вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел быстрыми, поспешными шагами Пирквиц. Оказалось, что он-то вчера и занял комнату после отъезда Лыскова.

Чагин, менее всего думавший о нем теперь и менее всего желавший встретиться именно с ним, не сумел даже скрыть при его входе невольный жест неудовольствия.

– Ну как же вы не послали разбудить меня? – заговорил Пирквиц, улыбаясь, протягивая обе руки и будто не замечая движения Ча-

гина. – Сейчас встаю, ко мне приходит трактирщик и говорит, что здесь внизу офицер, который желал бы отдохнуть. Я спрашиваю, какой офицер, и он мне называет вас... Ну я сейчас оделся и пошел. Ну как же вам не совестно?

– Во-первых, я не считал бы себя вправе беспокоить вас, – ответил Чагин, хмурясь и довольно откровенно выказывая, что вовсе не желает разделять фамильярно-дружеское общение Пирквица, – и, во-вторых, я и подозревать не мог, что вы здесь. Насколько я помню, мы строго разграничили места нашей деятельности. Вы, кажется, до Нарвы согласились действовать?

Эта отповедь была нелюбезна, но Чагин вовсе и не хотел казаться любезным. Он и прежде не мог симпатизировать Пирквицу, а теперь, после рассказа Паркулы, тот окончательно стал ему противен.

Но Пирквиц ничуть не стеснился холодностью Чагина. Он преспокойно уселся напротив него за стол и заговорил с видом доброго товарища, который понимает, что между своими не должно быть церемоний.

– Конечно, мы условились, что я буду действовать до Нарвы, но, надеюсь, это не значит, что мы все пойдем врозь: ведь все-таки наше дело – дело общее. Ну, мне не удалось, я на всякий случай и поехал! Что же, думаю, может быть, догоню еще вас или встречу на обратном пути, если уж вам посчастливилось достать бумаги... Все-таки нам неловко вернуться в Петербург отдельно; нужно всем вместе.

– Зачем же всем вместе? – переспросил Чагин.

– Ну, как же? Я говорю – дело общее... Ну, рассказывайте, однако, почему вы здесь и усталый, и голодный? Вы ночь не спали? Что же, дело устроено? Где Лысков?

– Да, я не спал ночь, – проговорил Чагин, тоном и выражением давая понять, что не хочет отвечать на остальные вопросы.

«Ну, брат, от меня так легко не отделаешься!» – сказал взглядом Пирквиц и продолжал расспрашивать.

– Однако я не понимаю, с какой стати мы должны вам давать отчет? – сказал наконец Чагин, видя, что его односложные ответы не

действуют. – Ведь вы действовали самостоятельно, и мы не мешали вам. У вас к тому же было первое место. Вы упустили, теперь оставьте нас.

– То есть как «оставьте»? Я повторяю, что все-таки дело общее.

– Как? Даже если бы мы достали бумаги без вашей помощи, совсем помимо вас, вы все-таки имели бы претензию на то, чтобы разделить наш успех?

– Я надеюсь, – пожав плечами, протянул Пирквиц с уверенностью.

Чагин в особенности потому так настаивал на своем, что бумаги польского курьера лежали у него в кармане.

– Ну нет, – возразил он, – если бы вы успели перехватить, я никогда не претендовал бы.

– Да что вы так спорите? – перебил снова Пирквиц. – Вы-то достали или нет эти бумаги?

– Я уже сказал вам, что не считаю вас вправе требовать у меня отчета, – почти дерзко ответил Чагин.

«Ну, тут есть что-нибудь! – опять подумал Пирквиц. – Ты, брат, недаром запираешься,

ЭТО МЫ ВЫЯСНИМ».

– Ну, я вижу, – как ни в чем не бывало, заметил он,* – что вы после бессонной ночи не в духе. Знаете, вам лучше всего пойти и лечь теперь. Пойдемте наверх, там вы отдохнете.

Чагин сначала стал было отговариваться, но глаза его совсем слипались, и, чувствуя необходимость подкрепить себя сном, он согласился подняться наверх. К тому же он думал этим отделаться от докучливого Пирквица.

Пробуждение

Чагин спал тем крепким, хорошим сном, который и может быть только в молодости, как вдруг почувствовал, что кто-то осторожно, но настойчиво трясет его за плечи. Он отмахнулся, приоткрыл глаза и тут же, повернувшись на другую сторону, хотел снова заснуть. Но его не оставили в покое, продолжая трясти.

– Господи, и заснуть не дадут! – с невероятной жалостью к себе промышчал он, все-таки не делая усилия очнуться, так как ему казалось, что он только что лег.

– Вам письмо... спешное, – говорил между тем трактирщик, не оставляя плеча Чагина, – говорят, сейчас нужно.

– Письмо, какое письмо?.. Что нужно? – произнес наконец Чагин, открывая глаза. – Разве я давно сплю?

– Часа три будет.

– А-а... Я думал, что и получаса не прошло... Какое же письмо?

Молодой человек сел на кровать и взял из рук трактирщика сложенную пакетом бума-

гу.

Адрес был на его имя, но рука оказалась совсем незнакомой и притом довольно не твердой.

– Кто пришел? – спросил он трактирщика.

– Крестьянин-латыш.

«Неужели от Паркулы?» – подумал Чагин и принялся за чтение письма.

Там говорилось, что необходимо по делу, касающемуся Чагина, чтобы тот немедленно ехал обратно в лес, на условленное место к лачужке у ручья.

Чагин прочел, перечел, повертел письмо, ничего не понимая, и спросил, где посланный. Трактирщик ответил, что тот, как отдал письмо, сказал, что оно важное очень, чтобы передали его сейчас же, и ушел.

– Да, да, – рассеянно повторил Чагин, – конечно, важное. Я сейчас встану. Велите седлать лошадь; я поеду сейчас.

Трактирщик ушел, и Чагин, не теряя времени, принялся одеваться. Он не стал раздумывать о том, какое это было дело, по которому звал его Паркула, но рассчитал, что ему все равно надо ехать обратно к Лыскову и по

дороге он может остановиться в лесу.

Одеваясь, он сунул руку под подушку, чтобы достать бумаги, которые он положил туда перед сном, и не нашел их.

– Что за штука! – воскликнул он, напрасно шаря под подушкой, никаких бумаг там не было.

Чагин скинул подушки на пол, кроме кошелька, под ними ничего не оказалось. Он перерыл всю постель, но бумаг нигде не было.

– Хозяин, трактирщик, как вас! – крикнул он, выскакивая, как был, без камзола, из комнаты на лестницу. – Хозяин!

– Ну, я здесь... я здесь, – послышался откуда-то снизу голос немца, и его толстая фигура показалась затем, переваливаясь, на лестнице. – Ну, зачем же кричать так?

– Где тот офицер, который был со мной в комнате? Где он? Позовите его! – продолжал, не помня себя, кричать Чагин.

– Его нет, он уехал два часа тому назад. Как вы легли спать, он почти сейчас же заплатил все по счету и уехал.

Чагин сразу подумал, что бумаги похитил Пирквиц, но все-таки ему не хотелось верить

этому; теперь же, когда стал известен отъезд Пирквица, приходилось убедиться.

«Что же это? Воровство! – повторял себе Чагин, возвращаясь в комнату. – Это уже прямое воровство... грабеж, разбой... Положим, я его достану живого или мертвого... Это так ему не пройдет, я весь Петербург переверну, а докажу, что вовсе не Пирквиц раздобыл у поляка бумаги».

Так думал он сгоряча, решив, что сейчас же отправится в погоню за Пирквицем, и если не догонит его, то во всяком случае настигнет в Петербурге и там хоть силою отымет бумаги.

Но по мере того как проходила горячность первого впечатления, Чагин стал делать усилия прийти в себя, потому что именно теперь нужно было призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы действовать разумно.

Вдруг ему попалось на глаза письмо Паркулы. Он пробежал его еще раз и решил, что теперь ему не до латыша и не до его дел. Но Лысков? Как быть с ним? Оставить его ждать и самому гнаться за Пирквицем или ехать к нему и затем вместе явиться в Петербург?

Собственно, поручение было дано Лыскову, и потому без него в Петербурге труднее будет действовать. Пирквиц, вероятно, будет скакать день и ночь и догнать его на дороге будет немислимо. Следовательно, все равно придется действовать уже в Петербурге. А там одному не справиться... Привези бумаги сам Чагин, никто не потребовал бы подробных объяснений о том, как он достал их, но теперь, чтобы доказать, что они незаконно попали в руки Пирквица, требовалось рассказать все, а это, ввиду участия в деле Паркулы, оказывалось невозможно сделать.

«Как же тут быть?» – в сотый раз спрашивал себя Чагин и не находил ответа.

Время между тем шло. Нужно было предпринять что-нибудь.

Чагину в душе хотелось одному сейчас ехать за Пирквицем, но, будучи научен уже опытом действовать осмотрительнее, он постарался представить себе, что выйдет из того, что он догонит Пирквица. И его охватила при этом такая злоба, такая ненависть, что он почувствовал, что, попадись ему теперь только Пирквиц, он способен убить его. Дуэль

между ними казалась для Чагина теперь неизбежной, но он боялся убить Пирквица просто без дуэли, «как собаку». И эти злобные слова «как собаку» он повторял с особым наслаждением.

«Нет, один я наделаю глупостей, – старался он успокоить себя, – нет, нужно будет пови-даться с Лысковым и затем вместе ехать в Петербург. Да и это не составит большой разницы во времени. Конечно, так будет лучше, благоразумнее...»

И, заметив, что он становится спокойнее, когда начинает думать о Лыскове, Чагин решил ехать к нему, с тем чтобы передать, какую гадкую штуку устроил с ним Пирквиц, и, сообщая обсудив дело, вместе отправиться в Петербург.

У ручья

Несмотря на то что Чагину теперь вторично приходилось испытывать внезапный переход от самых радужных надежд почти к полному отчаянию, он все-таки не мог еще основательно осознать, как; осознал это впоследствии, когда пожил, что в серьезных делах в жизни такие переходы встречаются чаще, чем можно этого ожидать.

И главное, он ехал теперь по той же самой дороге, по которой так недавно еще направлялся к трактиру, счастливый своей удачей. Теперь он ехал назад и все словно обернулось. Дело было то же, сам он оставался тем же, и дорога была та же самая, и все-таки все выходило обратно, как отражение в воде, и прежние светлые грезы и ожидания заменились мрачными черными мыслями.

Злоба, пока еще бессильная, душила Чагина. Он думал только о Пирквице, о пропаже бумаг и о том, как будет лучше вывести на чистую воду, наказать этого Пирквица, и отомстить ему.

Он торопился, чтобы с нерастраченным за-

пасом своей злобы рассказать обо всем Лыскову и услышать его вразумляющий, вечно спокойный голос. Однако он вскоре же подумал:

«Нет, при такой штуке и сам Лысков выйдет из себя... Ведь это же переходит всякую меру, всякие границы!»

И он волновался, торопился и не узнавал дороги, по которой ехал. Сегодня утром она казалась ему преисполненной живописной прелести, теперь же была пустынна и невзрачна.

При въезде в лес, у старой лачужки, стоявшей у ручья, Чагин ясно услышал, что его окликнули.

Занятый теперь всецело своим делом и своими мыслями, он совершенно забыл о письме Паркулы и о том, что ждет его, и лишь услышанный им оклик навел его на мысль о письме.

«Ах да, здесь еще нужно зачем-то остановиться!» – мелькнуло у него, и он с нескрываемой досадой повернул лошадь к лачужке.

У дверей ее стоял Паркула, но не такой, каким увидел его Чагин при первых минутах

свидания вчера, а такой, каким он был впоследствии, когда пришла очередь ему действовать.

Паркула ждал, видимо, с нетерпением, как человек, которому каждый миг дорог. Глаза его горели, грудь дышала неровно, и все лицо выражало тревогу и беспокойство.

– Ваше высочородие, – оглядываясь заговорил он, – дело вышло серьезное, теперь все кругом на ногах. Убийство барона за наш счет пошло.

При этом напоминании Чагин невольно понял самую суть, так сказать, причину причин своей досады, которая охватила его, когда пришлось подъехать к Паркуле.

– Нельзя же было дать зарезать эту девушку, – резко ответил он. – Тогда вышло бы худшее еще убийство.

– Да это-то ничего, – перебил Паркула, – за это-то дай Бог вам здоровья; теперь вся округа вздохнет спокойнее, от злого человека избавили ее...

Чагин не знал округи, но почувствовал, что самому ему вздохнулось действительно легче при этих словах Паркулы.

– Нет, я к тому говорю, – продолжал тот, – что теперь нам долго разговаривать нельзя; теперь кругом всякого латыша без разбора хватают, говорят, что барона латыши убили, а я попадусь – много со мной народу пропадет, потому что без меня... – Но Паркула не договорил. – Вона, уж едут, – показал он головой на дорогу и, добавив скороговоркой: – Скажите, что у крестьянина-латыша дорогу спрашивали, – быстро повернулся и исчез в лесу.

По дороге из леса действительно выезжало трое всадников, вооруженных с ног до головы. Один из них, тот, что был впереди, завидя разговаривающих, крикнул что-то и пустил лошадь. Чагин расслышал, что ему кричали: «Держи его». Но Паркула успел уже скрыться.

«Это, вероятно, люди барона», – сообразил Чагин и стал дожидаться, пока приблизится скакавший теперь к нему всадник.

Тот подъехал и, круто осадив лошадь, спросил довольно грубо, о чем Чагин разговаривал и с кем.

Это был рослый человек лет сорока, с мускулистым, сухим бритым лицом, одетый в черный камзол и кафтан. Его тонкие губы и

маленькие, быстро бегающие глазки показались Чагину очень неприятны. Говорил он по-немецки.

Чагин спокойно оглядел его и, не отвечая на грубый вопрос, в свою очередь спросил, кто он такой.

– Я управляющий барона Кнафтбурга, убитого нынче ночью, – ответил подъехавший, произнося последние слова таким шепотом, как будто обстоятельство убийства барона позволяло ему, управляющему, быть грубым.

– Ну, а я русский офицер, князь Чагин, – ответил Чагин и тронул лошадь вперед шагом.

Гордый вид молодого русского офицера, его титул и, главное, спокойствие произвели свое действие на управляющего.

Он склонил слегка голову и повернул лошадь за Чагиным, не смея, однако, поравняться с ним, а держась несколько вдали и говоря:

– Я все-таки должен знать, что говорил вам этот крестьянин. Мы их подозреваем...

«Знает он или не знает, что они вчера гнались за мной?» – думал между тем Чагин и спросил опять, не отвечая на вопрос:

– Вы говорите, что сегодня убили вашего

господина?

– Да, сегодня утром его нашли на дороге застреленным. Пуля попала в самое сердце.

«Ага! В самое сердце... Значит, не мучился», – невольно мелькнуло у Чагина, и он спросил:

– Зачем же он выходил ночью один, если здесь так опасно?

– Он был не один, с ним был старый слуга, но тот вернулся сегодня в замок помешанным. И никто не знает, как и когда они вышли.

– Как они вышли? Вероятно, просто через ворота!

– В том-то и дело, что у нас все выходы очень тщательно охраняются. Все сторожа показывают, что барон не проходил мимо них. Одно предположить можно, что в этом замке есть много разных тайных ходов.

– Ну, а этот вернувшийся помешанным слуга рассказывает что-нибудь? Может быть, по его словам можно догадаться о чем-нибудь?

Расспросы Чагина не могли показаться никоим образом подозрительными, потому что

весьма естественно, что проезжий, которому сообщили об убийстве, интересуется подробностями.

– Нет, по его речам ни о чем нельзя догадаться: он окончательно потерял всякую способность говорить связно. Такое сумасшествие бывает вследствие большого потрясения, испуга; вероятно, он очень испугался.

– Ну, а ваш господин сам не мог застрелиться?

– О нет! Он слишком любил жизнь или, вернее, ненавидел смерть, потому что «любить», кажется, он ничего не мог.

– Вот как?

– Да. Его кругом терпеть не могли. Оттого и ясно, что это латыши... Вот мы к приезду властей и забираем, но до сих пор еще ничего дознаться не могли. Есть подозрения...

– Есть подозрения?

– Да. Вчера днем тут проезжал один русский офицер, он стрелял в барона. Потом мы гнались за ним, но он успел скрыться.

Эти слова управляющий произнес отдельно и рассчитанно внушительно. Два его спутника давно уже присоединились и ехали сза-

ди.

Чагин медленно обернулся и взглянул прямо в глаза этому человеку.

Потом, впоследствии, вспоминая этот свой разговор, он сам себе удивлялся: откуда взялись у него то самообладание и хладнокровие, с которыми он говорил тогда.

– При чем же тут тогда латыши? – спросил он так же отдельно и внятно.

– Может быть, они были подкуплены и из ненависти согласились на этот подкуп.

«От этой истории, пожалуй, так просто не отделаешься! – опять подумал Чагин. – Ну что ж? Пускай, у меня есть свидетельница. Вероятно, о ней и хотел со мной переговорить Паркула... Нужно будет еще повидаться с ним».

И он опять обернулся и опять удивительно спокойно продолжал:

– Может быть, тут, то есть в этом деле, замешана женщина? Любовь?

Управляющий отрицательно покачал головой.

– Нет, этого быть не может! Барон Кнафтбург жил у себя в замке безвыездно.

– Но разве в замке не могла быть... в самом замке?..

– Вот уже десять лет я служу барону и ни разу ни одна благородная дама или девушка не входила в ворота замка.

– И вы наверняка знаете это?

– Наверняка. Но отчего вы спрашиваете?

– Так! – коротко ответил Чагин и замолчал.

Лгать управляющий не лгал. В этом нельзя было сомневаться, судя по его тону. Но в таком случае кто же была та девушка, которую спас сегодня ночью Чагин?

«И очень нужно было ввязаться в эту историю!» – вот единственный вывод, который он сделал пока из всех своих догадок.

Лысков бреется

Между тем Лысков сидел в комнате трактира, условленном месте свидания с Чагиным.

Он сидел с намыленной щекой перед зеркалом и тщательно водил бритвой, снимая ею белую, тающую пену мыла и изредка поглядывая в окно, видимо, поджидая запоздавшего товарища. Но на дороге, насколько позволяла видимость из окна, не было заметно никакого движения, и Лысков снова принимался за свое дело с тем особенным невозмутимым спокойствием, которое было ему свойственно.

Медленно, не торопясь он соскоблил правую щеку, потом левую и, проведя рукой по подбородку и найдя, должно быть, что выбрито не чисто, намылил еще раз. В это время на дороге показался верховой. Лысков приостановился, пристально поглядел в окно и, убедившись, что это был Чагин, улыбнулся, а затем, по-прежнему не торопясь, принялся за бритву.

Через некоторое время в комнату не во-

шел, но почти влетел Чагин.

– Лысков, ты жив, здоров? – заговорил он. – Ну, здравствуй! Ну, я тебе скажу, и был же я в переделке... Ты понимаешь, Пирквиц такой подлец!

Лысков, положивший бритву, чтобы поздороваться, и снова взявший ее, остановил руку на полпути и, оглянувшись, спросил:

– При чем же тут Пирквиц?

– Как при чем?.. Да брось ты бриться, слушай!

– Не могу же я с намыленной щекой...

– Ну, все равно слушай только! Я достал польские бумаги!..

Это было первое, чем хотел поразить Чагин Лыскова, и потому, произнеся эти слова взволнованно торжественно, он замолчал, ожидая, какое впечатление произведут они. Но его друг и глазом не повел. Подперев щеку языком, он очень усердно скоблил по ней бритвой, наклонясь к зеркалу, как будто и не замечая волнения, в котором находился Чагин.

Будь эти бумаги теперь в кармане последнего, не пропади они у него, это переходящее

всякую меру терпения равнодушие Лыскова непременно взорвало бы его; но теперь он чувствовал себя виноватым и потому, стараясь сдержать себя (у него в груди так и кололо, так и билось, а зубы стискивались и кулаки сжимались), он только глянул на Лыскова и обиженно отвернулся.

«Ну, не хочешь слушать, так очень мне это нужно!» – говорил обиженный вид Чагина, с которым он, отвернувшись, вдруг решительно растянулся на кровати и, перекинув ноги, уставился бессмысленно в потолок.

– Ну, ты достал польские бумаги?.. – переспросил Лысков, высвободив наконец язык из-под щеки.

– Ну, и у меня их самым бессовестным образом украл Пирквиц, – подхватил Чагин, вскочив с постели и снова оживляясь, как будто он ждал лишь вопроса, чтобы снова заговорить.

Его друг отклонился на своем стуле и затрясся от тихого, но неудержимого смеха. Этого уж никак не ожидал Чагин.

– Послушай, Лысков! – заговорил он. – Что же это?.. Чего же ты смеешься! Что смешного

тут, скажи, пожалуйста? А? Я тебе говорю, что бумаги были в моих руках и Пирквиц у меня стащил их...

– Постой, погоди! – остановил его Лысков. – Как же вы встретились?

Чагин рассказал, как они встретились и как он, проснувшись, не нашел бумаг у себя под подушкой.

Но Лысков, вместо того чтобы возмутиться, рассердиться, выйти из себя, снова рассмеялся.

Чагин вспыхнул окончательно и быстрым, прорвавшимся потоком ненужных и обидных слов наговорил Лыскову самых неприятных вещей. Он говорил, чувствуя, что не следует делать это, и потому раздражался только еще больше и, словно скатываясь с горы, говорил, говорил и говорил, ничего не желая: ни слушать, ни знать, кроме собственного голоса, горячась все больше и больше от звуков этого голоса. Это был какой-то припадок бешенства, припадок, которым разрешилось наконец пережитое в последние сутки Чагиным волнение.

Лысков, как бы понимая состояние, в кото-

ром находился его приятель, все по-прежнему спокойно продолжал бриться, давая Чагину выговориться и, главное, устать.

– Помилуй! – кричал тот. – У меня такой случай, со мною делают такую подлость, я лечу сломя голову к тебе, к кому лее мне и приехать? И потом ведь это лее общее наше дело, а ты находишь в этом удовольствие и причину для потехи, смеешься! Да, если бы я знал, то для смеха в комедию поехал бы, а не к тебе! Тебе хорошо тут, расположился перед зеркалом, как дома, а побывал бы в моей шкуре!..

Обе щеки Лыскова были уже тщательно выбриты и вымыты.

– Ну вот, видишь ли, – ответил он наконец, – в твоей шкуре, разумеется, я не был, зато в положении, одинаковом с твоим не только находился, но и нахожусь.

– Как так? – удивился Чагин.

– А так! Ты говоришь, бумаги у тебя отнял Пирквиц.

– То есть не отнял, а стащил, пока я спал... стащил...

– Ну а у меня их отняли!

Чагин приложил руку ко лбу, ничего не

понимая и как бы желая убедиться, во сне он это слышит или наяву?

– Постой! Как же у тебя их отняли? Значит, ты добыл их у Демпоновского?

– Да.

– И он их отнял у тебя?

– Нет, не он.

– Так кто же?

– Ты.

– Я? Я отнял у тебя польские бумаги.

– Ну, разумеется, только не сам, а при посредстве господина Паркулы, нынче ночью я имел честь познакомиться с маркизом Паркулой: *un parfait gentilhomme*. [10]

Чагин как был, так и сел. Ноги у него подкосились и в глазах потемнело.

– Этого только недоставало! – выговорил он. – Как же это ты... как же это ты раньше не сказал мне этого?..

– Да ведь ты не давал мне рот раскрыть...

– Ах, какой же я дурак! – вдруг, всплеснув руками, воскликнул Чагин. – Что же я теперь наделал, что я наделал!.. Да как же ты попал к этому Паркуле?

– Вероятно, так же, как и ты. Меня схвати-

ли. Когда ты оставил меня с поляком, то есть ты только что уехал, явился Демпоновский, стал требовать комнату, и я пустил его к себе. Он сел завтракать, потом мы принялись за карты... этому поляку страшно везет...

– Как? Разве опять он выиграл? – не удержался Чагин. – А я думал, хоть деньги-то у нас есть. Мне сегодня утром там трактирщик сказал, что Демпоновский уехал мрачный.

– Это оттого, что он мало выиграл: я по маленькой ставке делал, чтобы время протянуть, ведь я не для удовольствия, а для дела играл. Ну, так и продержал его до позднего вечера, а потом отпустил.

– Ну, а бумаги-то, бумаги-то как?

– А когда Демпоновский, вдруг спохватившись, что замешкался со мною, стал собираться и торопиться, то впопыхах забыл на столе свою сумку. Потом он сейчас же снова вбежал за ней наверх, но этого времени было для меня достаточно... понимаешь? Как только Демпоновский уехал, я Захарыча и Бондаренко с вещами отправил сюда длинной дорогой, а сам поехал по короткой и... наткнулся на компанию Паркулы. Ну, там сначала

приняли меня нелюбезно, но потом выяснилось, что я имею честь служить с тобой в одном полку, и это сразу изменило дело. Оказывается, что твой Паркула явился ко мне, как только ты уехал, и очень удивился, когда узнал во мне русского офицера, носящего с тобой один и тот же мундир. Толковый парень этот Паркула, сообразил все сразу... Да разве ты не виделся с ним сегодня? Он должен был выехать к тебе навстречу.

– Я виделся с ним, но не мог переговорить; на нас наехали люди этого барона Кнафтбурга. Ведь это целая еще история...

– Знаю ее, знаю.

– Нет, но мог ли я думать, что это были ты!.. – вспомнил опять Чагин. – Ведь это действительно и смешно, и глупо вышло!.. Но все-таки что же нам делать с Пирквицем? Ты отдохнул, я готов хоть сейчас ехать.

– Да, ехать нужно будет скоро, – протянул Лысков.

– Ну вот, и я тоже говорю: если мы сейчас выедем, то приедем в Петербург...

– Ну, в Петербург мы долго еще не приедем! – сказал вдруг Лысков.

- Как долго не приедем? А Пирквиц?..
- Бог с ним! – махнул рукой Лысков.

Кладезь ума и сообразительности

— То есть ничего не понимаю, решительно ничего не понимаю! – повторял Чагин, ходя из угла в угол, как зверь в клетке, по маленькой комнате, в которой они сидели с Лысковым. – Как же ты говоришь не ехать в Петербург, когда Пирквиц, без сомнения, направился туда, наверное даже туда?.. Я спрашивал.

– Бог с ним! – повторил опять Лысков. – Нам до него дела нет.

– Ну уж это извини! Нет, у меня есть до него дело: я не знаю, как там будет относительно бумаг, но уж я его при первом же свидании или вызову на дуэль, или скажу ему открыто, при всех – «подлец». Так ты и знай это!

Лысков пожал плечами.

– Ты погоди, – перебил он, улучив минуту, когда Чагин переводил дух, – ты мне скажи одно: способен ты теперь внимательно слушать и ясно рассуждать или нет еще? Если способен, я буду говорить, а нет, дам тебе вы-

говориться. Только предупреждаю, что мы лишь время потеряем в таком случае.

– Да нет, я хочу только сказать, – начал было Чагин, но видя, что Лысков отвернулся, вдруг добавил, – ну, хорошо, хорошо, я слушаю! Ну, что ты хотел сказать?

– Прежде всего садись! Вот так! Теперь слушай внимательно! Когда Демпоновский подъехал к трактиру, то с первых же его слов было ясно, что Пирквиц распорядился очень глупо, то есть не только выпустил поляка из своих рук, но и дал ему заметить, что послан по его следу, очевидно, не для того, чтобы поддерживать только приятную компанию с ним. Таким образом Демпоновский был уже настороже, то есть знал, что за ним следят. Я, со своей стороны, сделал все возможное, чтобы отвлечь его подозрения относительно меня.

– Ну, и он поверил?

– Не совсем, кажется.

– Как же он вошел к тебе? Очевидно, поверил.

– В этом-то вся и штука! Заметь это. Оказался он куда хитрее, чем можно было этого

ожидать. Войдя ко мне, он стал очень основательно расспрашивать меня, почему это мы встретились. Я отвечал, как следует. Он успокоился или сделал вид, что успокоился. Стали мы играть. Только, смотрю я, мой Демпоновский роль начинает разыгрывать, пьет и пьянеет уж слишком скоро, впрочем весьма искусно. Не играй мы, пожалуй, можно было и действительно подумать, что он пьянеет; ну а тут игрок-то, игрок все-таки в нем сказался: разговаривал он, как пьяный, а играл, как трезвый; в игре есть эти неуловимые оттенки: трезвый или пьяный – сейчас скажется. Ну, заметив это, и я в свою очередь начал роль играть, чтобы дать ему понять, что и я – одна из гончих, посланных по его следу.

– Зачем же это? – поинтересовался Чагин, который видел уже, что рассудительность его друга должна привести к какому-нибудь неожиданному, но логически верному результату.

– А вот погоди. Ты слушай!.. Я тебе говорю, в конце концов Демпоновский убедился, что я встретился с ним с теми же целями, как и Пирквиц, и, несмотря на это, все-таки забыл

свою сумку... Соображаешь?

– То есть что же именно ты хочешь сказать? – неопределенно переспросил Чагин.

– А то, что будь у него в сумке настоящие документы, он, Демпоновский, таков, каков он есть, стреляный гусь, ни за что на свете не позабыл бы этой сумки. Понял? У него там лежали на всякий случай пакеты пустые.

– Однако на них ясно были обозначены адреса, и печати к ним были приложены. Я ведь видел эти пакеты, – заметил Чагин.

– Ну, а внутри-то, внутри они были пустые.

– Ты разве вскрывал их?

– Да это и без того ясно. Ясно, что это ловушка, в которую могли попасться ваше сиятельство и в которую с головой влез наш добрый Пирквиц. Вот отчего я и смеялся, когда узнал, что он везет эти пакеты в Петербург. Воображаю его рожу, когда ему скажут, что он привез!

– Лысков! Лысков! – заговорил Чагин, заметно веселя и сам уже готовый рассмеяться. – А ты наверняка знаешь, что эти пакеты пустые? То есть ты убежден в этом?

– В этом не может быть сомнения; я тебе

повторяю, что это ясно, как Божий день. Не таков человек Демпоновский, чтобы забыть письма, а именно ловушку устроить – это похоже на него... Расчет верный. Он знал, что за ним будет погоня, и заготовил эти пустые пакеты. От Пирквица он отделался, ну а встретившись со мной, может быть, увидел, что от меня труднее отделаться, а потому и пустил свое крайнее средство... К тому же оно могло быть весьма действенно – я мог обрадоваться, поскакать в Петербург, а тем временем он успел бы добраться до границы.

– Да, да! – пораженный, повторял Чагин. – Торжественно признаю еще раз, что ты – «кладезь мудрости и предусмотрительности». И с чего я тебе тут наговорил разных разностей? Глупо!.. Ну, да ведь ты понимаешь, в каком я состоянии явился сюда. Нет, – вдруг подхватил он, как будто теперь только впервые представив себе фигуру Пирквица, везущего пустые письма, – нет, Пирквиц-то хорош будет! А? – и он в свою очередь расхохотался. Только что разрешившийся припадок злобы у него перешел теперь в припадок неудержимой веселости. Он вскочил с кровати, на кото-

рую уселся, сам не зная когда, начал тормозить Лыскова и уговаривать его выпить бутылку. – Ты понимаешь ли? – твердил он. – Ведь ты снова из меня человека сделал!.. Ведь ты мне бодрость вернул, а то я... Что ж, я думал, ни на что уж я не годен – достал ты бумаги, попали они в мои руки, а я их и прозевал... Так ты на меня не сердись, нет?

– Не только не сержусь, но скажу тебе, что если бы я и в самом деле прозевал настоящие бумаги, то и тогда я не мог бы сердиться на тебя.

– Ну, тогда бы другой разговор был.

– Может быть, но я говорю то, что говорю. Ты знаешь, та девушка, которую ты спас нынче ночью...

– Ну?

– Ну, она здесь вот, рядом, в комнате. Это Фатьма!

Опять вместе

— Да, брат, бывают в жизни обстоятель-
ства, — заговорил Лысков через некото-
рое время (теперь он ходил, а Чагин сел), — та-
кие обстоятельства, что нарочно не придума-
ешь. Уж на что хитро это в романах описыва-
ется, ну а как правда-то пойдет, так всякие
людские хитрости заткнет за пояс. Вот тут и
суди... Да, да, эта самая девушка, которую ты
спас, не кто иная, как Фатьма, о которой я те-
бе рассказывал.

Чагин был так поражен произошедшей на
его глазах действительностью, что счастливо-
му Лыскову (Лысков был тихо, спокойно, уве-
ренно счастлив теперь) приходилось убеж-
дать его в том, что действительность — это не
призрак.

— Как же это так? — повторял все Чагин. —
Неужели же это правда и так все сошлось?
Нет, знаешь, это поразительно... Ведь если
рассказать это или описать, то просто не по-
верят.

— Уж там поверят или не поверят, мне это
все равно, но я знаю, что не попади ты слу-

чайно в эти «забытые хоромы» – так, кажется, это место называется? – то не была бы она в живых. Знаешь, при одной мысли об этом кровь стынет. Я вот сижу, сижу – и теперь с тобой – да нет-нет и вспомню, так просто мороз по коже пробирает.

– Ну, как вы встретились? – спросил, улыбаясь, Чагин.

С тех пор как Лысков сказал ему о Фатьме, он не переставая улыбался.

– Да, как это вышло? Я так в подробностях не могу передать, то есть не то что забыл или не помню, нет, что чувствовал – все помню, сказать только, выразить не смогу; ну, а уж отдельные подробности сливаются у меня... Паркула окончательно уверился, что я – свой человек, когда я ему рассказал его же историю (вышло кстати, что ты сообщил мне ее). Ну, и мне все вещи вернули. Затем он мне объяснил, что пошлет за тобой, а пока провел к себе. Тут мы и встретились...

– Отчего же не ты сам написал мне?

– Ну, уж где тут было писать?.. Ну, потом я не знаю, сколько времени прошло, только прибегает Паркула и говорит, что видел тебя,

что ты едешь сюда и что нам нельзя терять ни минуты. Он живо отправил нас, дал проводника, и мы выбрались по лесу очень скоро к самому трактиру. Вот и все.

– Удивительно! Но послушай, ты... ты очень счастлив?.. Скажи!.. И она не забыла, любит?

Лысков только улыбнулся в ответ, но эта улыбка сказала гораздо больше слов.

– Я одного только еще не понимаю, – заговорил опять Чагин, – каким образом она попала к барону? Мне его управляющий совершенно определенно сказал, что в замке женщин не было, а он служил у Кнафтбурга в продолжение десяти лет.

– Ну, это ты узнаешь от нее самой; увидишь вот ее, она расскажет. Так ты говоришь, что едва отделался сегодня от этого управляющего?

– Да. Я уверен, будь этот барон жив, они не постеснялись бы захватить меня прямо силой; ну, а управляющий побоялся. Все-таки офицер. Но едва ли нам отвертеться от этой истории. Меня очень усердно приглашали в замок заехать, хотели задержать меня до при-

езда властей. Однако я поблагодарил и, разумеется, не поехал...

Они разговаривали и, сами себя обманывая, тянули этот разговор, чтобы отложить неловкость встречи Фатьмы с Чагиным. Несмотря на то, что последнему хотелось поскорей увидеть турчанку, а Лыскову показать ее, оба они чувствовали, что непременно все трое сконфузятся, когда сойдутся вместе. Положим, эта конфузливость будет радостная, хорошая, но все-таки нужно побороть ее.

И теперь, когда дело коснулось Фатьмы, даже Лысков ощутил нечто похожее на волнение и потому говорил с Чагиным, в свою очередь взволнованным голосом, как; говорят люди, когда думают о чем-то другом и не хотят высказать это другое, надеясь, что все должно устроиться само собой.

Так вышло и на этот раз. Захарыч, под руководством трактирщика, явился накрывать на стол к обеду и принес два прибора. Лысков велел принести ему третий.

Когда стол был накрыт (они все по-прежнему продолжали говорить о другом), Лысков ушел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с

Фатьмой.

Она была бледна и казалась очень усталой. Но ни бледность, ни усталость не могли затмить в ней красоту, которой поразился Чагин еще в развалинах, когда ночью увидел ее в обмороке.

Она вышла с опущенными веками и только два раза подняла их, чтобы глянуть на человека, спасшего ей жизнь.

Чагину казалось, что сам он не смотрел в это время на нее, по крайней мере, глаза их не встретились, но он видел ее быстрый взгляд, сверкнувший огнем из-за миндалевидных разрезов ее опущенных черными ресницами глаз. Хороши были, очень хороши эти глаза.

При виде красавицы Фатьмы, оживленной счастьем свидания с любимым человеком после долгой и тяжелой разлуки, Чагин невольно любовался ею; но странное дело: он любовался ею, как любят картину или статуей, точно лишь сам он и Соня Арсеньева были во всем мире одни настоящие люди, а все остальные, так, только «нарочно».

Подали обедать, и все принялись за еду.

Фатьма сидела почти все время молча и от застенчивости, и от того, что ей, видимо, трудно было говорить по-русски. Она всеми силами старалась показать, что не забыла русского языка, но по тем нескольким словам, которые были произнесены ею, ясно было, что у нее русская речь смешалась с немецкой и польской; но эта смесь выходила у нее все-таки чрезвычайно милой.

«Прелесть, как мила!» – думал про нее Чагин несколько раз во время обеда.

Лысков старался хмуриться более обыкновенного, но это ему никак не удавалось. Не только Чагин, отлично знавший своего друга, но и всякий, кто поглядел бы теперь на Лыскова, должен был бы заметить, что под его с усилием сдвинутыми бровями блестели радостно веселые глаза, а губы улыбались под усами.

За столом говорил больше других Чагин, вспомнивший про Пирквица, везущего в Петербург пустые пакеты. О прошедшей ночи не было сказано ни слова.

Начав о Пирквице, невольно перешли на Демпоновского, и Лысков предложил следу-

ющий план дальнейших действий. Так как Демпоновский едет, очевидно, на заранее подготовленных переменных лошадях, то нечего и думать догнать его ранее Риги. В Риге же ему придется во всяком случае остановиться на два или три дня, чтобы получить заграничный пропуск. На эти-то дни и рассчитывал Лысков. Он предложил, что сам немедленно отправится с Бондаренко в Ригу, взяв всех четырех лошадей с тем, чтобы двух вести в поводу для смены и запаса, а Чагин с Захарычем на наемных лошадях в экипаже поедут с Фатьмой.

Чагин, конечно, предпочитал ехать в Ригу верхом вместо Лыскова или, по крайней мере, вместо Бондаренко, но понял, что если его друг решается оставить Фатьму, то именно потому, что в этом отношении надеется на него, Чагина, и, наоборот, боится доверить ему все дело. И он чувствовал, что Лысков, во всяком случае, имел если не право на такую боязнь, то серьезные основания для нее, и согласился на его предложение.

Лысков уехал в тот же вечер. На другой день на заре выехал и Чагин с Фатьмой.

В этот казавшийся ему бесконечным переезд от «Тихой Долины» до Риги он узнал историю и прошлое Фатьмы.

Гуссейн-паша

Лысков был прав, когда, рассказывая Чагину о Фатьме, говорил, что «этой самой породы в ней пропасть». Она была дочь Гуссейн-паши, который считал своих предков в родстве с Магометом и принадлежал к истарии богатому роду. Все поколения этого рода проводили жизнь в довольстве и роскоши, будучи окружены почетом и пользуясь властью. Таким образом Фатьме нетрудно было унаследовать от своих предков ту породистость, которую приобрели они долгими годами изнеженной, окруженной великолепием жизни.

Отец ее пользовался почти неограниченной властью. В его ведении находился сравнительно далекий от Константинополя удел, и он управлял им вполне самовластно, представляя собой маленького владыку, державшего в страхе всю округу и смотревшего на ее население, как на своих подданных.

Все его сношения с «Константинополем» заключались в посылке туда податей султану и подарков его сановникам, а затем, исполнив

свои обязанности по отношению главного властелина, он мог, в свою очередь, являться властелином у себя дома. Звание паши он приобрел как вследствие своей личной храбрости, так и благодаря своему богатству и знатности своего рода.

Он жил во дворце, имел свою свиту и войско, и в Константинополе знали, что, перейди Гуссейн-паша в число непокорных пашей, это стоило бы многих хлопот и бог весть чем могло кончиться. Но Гуссейн вел себя безупречно, никогда не задерживал податей, никогда не забывал одарить великого визиря и всех, кого следовало, и всегда был готов явиться по первому призыву в рядах султанских войск для борьбы с неверными.

Все это заставляло уважать его и бояться. Боялись его и уважали также и те, которых он считал своими подданными.

Фатьма была дочерью любимой жены Гуссейна, Алише, обладанием которой мог бы гордиться и султанский гарем. Свою красоту Алише передала своей единственной дочери; других детей у нее не было. Грозному паше сильно хотелось иметь от Алише сына, одна-

ко, несмотря на то, что это желание не осуществлялось, и несмотря на все гаремные интриги и происки, она все-таки оставалась любимой женой Гуссейна и властительницей его сердца.

По мере того как подрастала Фатьма, любовь ее отца и к ней, и к ее матери только увеличивалась. Для них были отведены в гареме отдельные роскошные комнаты, убранные зеленым штофом и дорогими коврами. Для них другие женщины пели песни и играли, когда Фатьме хотелось веселиться. Когда же она засыпала, все кругом не только ходили на цыпочках, но боялись дохнуть, и даже закрывали фонтаны в саду, чтобы они как-нибудь случайно не разбудили своим плеском любимицы Гуссейна. У нее были служанки, которым, в свою очередь, прислуживали люди. Для каждого дня в году у нее было новое платье. Все, чего только ни желала она, являлось у нее как по волшебству.

Фатьма отлично помнила отца, его строгие, серые глаза, его длинную с проседью бороду, пахнувшую дымом кальяна, и мягкий, приятный голос, рассказывающий ей сказки.

Ей часто приходилось слышать от окружающих, что он строгий и грозный паша, перед которым трепещут все, но для нее он оставался всегда тихим и добрым, и она не могла себе представить его таким, каким он был по отзыву других.

Так прошло ее детство.

И только впоследствии, когда из ребенка она начала становиться взрослой девушкой, ей пришлось убедиться, что отец может быть и хмурым, и угрюмым, и строгим.

Прежде, бывало, не проходило дня, чтобы он раза два не зашел на ту половину гарема, где жила она с матерью, но мало-помалу он стал пропускать свой обычный час послеобеденного кейфа, который всегда проводил у них. Фатьма реже видела у него на лице ту добрую, ясную улыбку, к которой привыкла и которую любила, и чаще и чаще начала замечать, Как ее мать потихоньку плакала ночью. Она советовала Фатьме быть ласковой с отцом, и Фатьма старалась, как только умела, приласкаться к нему; но чем больше старалась она, тем сильнее хмурился Гуссейн.

Раз она услышала, как ее мать в разговоре

с отцом (они точно спорили о чем-то) назвала себя старухой.

Фатьма знала, что быть старухой для женщины – большое несчастье, но никогда не могла предположить, чтобы ее милая, любимая мать стала старухой; это могло случиться с кем угодно, но только не с нею. И вдруг она сама себя называет так!..

После этого разговора отец целую неделю не был у них.

Тогда Фатьма поняла, что дни их прежнего благополучия и счастья едва ли вернутся, что отец изменился к ним и что хотя окружающие и относятся к ним пока по-прежнему с почтением, но это ненадолго и скоро наступит время, когда ненависть, скрываемая этим внешним почтением, выйдет наружу, потому что вместе с любовью отца исчезнет и страх перед теми, кого он любил. Но неужели он, добрый и любящий отец, мог разлюбить свою верную Алише и маленькую Фатьму?

Фатьма не могла поверить этому. Она не могла поверить, чтобы, раз полюбив ее мать, можно было разлюбить ее добровольно. Это было бы слишком дурно со стороны отца; а он

ведь был тоже хороший и казался неспособным на что-нибудь дурное. И Фатьма решила, что тут виноват кто-то третий и что этот третий – дурной человек.

Она начала прислушиваться, наблюдать и вскоре поняла, в чем было дело. Приблизительно к тому времени, когда отец изменился к ним, в свите его появилось новое лицо, быстро забравшее верх над остальными. На службу к Гуссейну поступил принявший мусульманскую веру христианин, получивший имя Тимбека. Как звали его прежде, Фатьма не могла узнать, но по тому трепету и понижению голоса, с которыми произносилось имя Тимбека, она поняла, какой силой он уже пользуется у ее отца. Говорили, что во всех делах он стал первым его помощником и советчиком, что никто, как он, не умел обращаться так с Гуссейном и никто, как он, не может придумать такие забавы и потехи, какие затекает Тимбек. Сегодня он увозит Гуссейна на охоту, завтра задает пир, потом устраивает смешную комедию. И, радуясь этим потехам, забывает Гуссейн свою Алише и заставляет плакать ее и грустить.

И задумала Фатъма помочь матери в ее го-
ре.

Песня Фатьмы

В первый же раз, как Гуссейн после долгого перерыва пришел на забытую теперь половину гарема, Фатьма сама повела его к мягкому дивану, у которого на низеньком столике были приготовлены столько дней напрасно ждавшие его кальян и кофе, сваренный самой Алише. Прежде, бывало, Гуссейн говаривал, что никто не умеет так варить кофе, как Алише.

Поддействовала ли на этот раз ласка Фатьмы, вспомнил ли Гуссейн те тихие минуты счастья, которые он испытывал здесь когда-то, но только он улыбнулся и морщины его разгладились.

Фатьма видела, как блеснули радостью при этом глаза ее матери, и сердце ее забило сильнее. Она чувствовала, что решительная минута близится. Однако ни отец, ни мать не знали, что она намерена сделать. Мать опустилась на диван в стороне, а Фатьма на ковер, на свое обычное место, возле отца.

Гуссейн молчал. Алише не решалась за-

говорить. Видно было, что его улыбка Фатьме явилась лишь мимолетным отблеском прошлого, и лицо его снова покрылось тенью. Казалось, он, прежде такой счастливый в эти часы, теперь не знал уже, зачем он пришел сюда, не мог найти слова для разговора и не знал, что ему делать тут, словно и кальян казался ему не крепок, и кофе не вкусен, и щербет не сладок.

Бывало, прежде Алише не стеснялась его задумчивостью и смело спрашивала о причинах этой задумчивости, чтобы разговором разгладить у него морщины. Но теперь она лишь изредка поглядывала на него, не решаясь заговорить.

Фатьма сидела, поджав ноги, и перебирала струны гитары. Вдруг она начала робким, нетвердым голосом, в такт своей игре, чуть слышно подпевать слова новой, сочиненной ею самой песни. Не оборачивая головы в сторону отца, она искоса следила за ним, слушает он или нет. Казалось, он прислушивался.

«Отец, — пела она, — не выдавай меня замуж. Да благословит тебя Аллах, если ты не выдашь замуж своей бедной дочери! Аллах,

Аллах, вложи в сердце моего отца жалость к его дочери, чтобы был он справедлив.

Муж возьмет меня и увезет к себе. Он полюбит меня, потому что маленькую Фатьму нельзя не полюбить. Он станет называть меня властительницей своего сердца; но, Аллах, вложи в сердце отца моего жалость!..

Придет время, и любовь его, дававшая радость, обратится в печаль. Ах, лучше бы не давала она радости вовсе, потому что сменившая ее печаль еще чувствительней от этого! Придет время, и забудет он жену, которую любил. Отец, не отымай меня у матери, она одна не разлюбит меня!»

Фатьма пела и увлеклась своей песней; голос ее звучал смелей и смелей, рука тверже ходила по струнам.

Гуссейн поднял голову и впился в нее глазами, забыв в стиснутой руке своей янтарькальяна. Он никогда не слышал этой песни.

«Будет время, – продолжала между тем Фатьма, – и придется назвать меня старухой. А разве виновата я, что муж мой возьмет мою красоту и молодость? Разве виновата я, что забудет он ласки мои и счастье, которыми за-

креплял когда-то свои клятвы?»

В это время Фатьма подняла глаза и ужаснулась тому, что она сделала. Мать ее сидела бледная как полотно и, опустив глаза, боялась поднять их, боялась шелохнуться. Гуссейн тяжело дышал, вне себя от гнева; он, казалось, не перебил песни дочери оттого только, что припадок гнева судорогой сжал ему горло и слова замерли у него. Но взгляд – такого грозного взгляда Фатьма даже в последнее время никогда не видела у него – яснее слов говорил.

– Фатьма, откуда взяла ты эту песню? Кто научил тебя ей? Зачем ты запела ее? – спросила Алише дочь.

– Я знаю, кто научил ее этой песне, – злобно перебил ее Гуссейн, – я знаю... И напрасно ты будешь отнекиваться... Женщина хитра, и хитрая женщина научила Фатьму этой песне и заставила ее спеть мне. И эта хитрая женщина – ты!..

Фатьма вдруг еще сильнее ударила по струнам и, словно вдохновленная свыше, пропела громким и твердым голосом:

«Никто не научил меня этой песне, нет, не

учил; сердце мне подсказало правдивые слова ее; из рыданий сложился скорбный напев ее. Тому, что идет от сердца и трогает самую душу, нельзя научить. Аллах говорит устами невинной девушки. Отец, сжался надо мною!»

Фатьма сама не знала, как вырвались у нее эти слова. Это случилось как-то само собой, помимо ее воли. Но, должно быть, она невольно вложила такую силу в них, таким отчаянным тоном отозвался грустный, искренний напев ее, что сердце Гуссейна смягчилось. Может быть, он подумал, что действительно сам Аллах вложил в уста его дочери эту песню. После ее последнего припева нельзя было сомневаться в том, что песня сочинена ею, а кто же, кроме Аллаха, мог вложить ей дар сочинять песни? Он опустил свой гневный взгляд, взялся рукой за голову и долго молчал, а потом поднялся и, подозвав к себе Фатьму, крепко-крепко поцеловал ее в лоб.

С этих пор Гуссейн не пропускал больше послеобеденного кейфа в покоях Алише и, когда случалось ему приходить сюда расстроен-

ным и мрачным, заставлял Фатьму петь ее песню.

Тимбек

Фатма торжествовала; но, к сожалению, торжество ее было недолгим. Не прошло года, как снова влияние Тимбека на Гуссейна выразилось еще с большей, чем прежде, силой. На этот раз он повел дело еще хитрее. Видя, что развлечения, охоты и празднества если не совсем потеряли притягательную силу для Гуссейна, то, во всяком случае, не достигают цели, Тимбек сумел достать для гарема паши новую красавицу, затмившую всех прежних.

Бывали и прежде у Гуссейна любимицы помимо Алише, но до сих пор это носило лишь характер временной прихоти, которая проходила и нисколько не вредила отношениям Гуссейна к его избранной жене. Однако красавица, доставленная Тимбеком, обладала, по-видимому, не только прелестью внешней, но и умом, и талантами, — словом, по прошествии трех недель со времени поступления ее в гарем у нее оказались на противоположной стороне от покоев Алише свои покои, и старой жене и ее дочери было запрещено гу-

лять в саду, когда туда выходила новая любимица, да и сам Гуссейн вдруг прекратил свои посещения к ним, словно стыдясь показаться.

Алише снова впала в отчаяние. Она проводила бессонные ночи, не ела, сидела у себя и плакала. Фатьме нечем было утешить ее, она могла только горевать вместе с нею.

И это горе сразило ее. Такого резкого, крутого перехода от полного, безмятежного счастья к ежеминутному и безнадежному горю не выдержала Фатьма. Она заболела.

Когда доложили Гуссейну о болезни дочери, он сказал, что навестит ее.

Это посещение Гуссейна было последним. Потерявшая голову Алише решила послушаться старой кормилицы Фатьмы, которая уверяла, что паша не иначе как приворожен тайными чарами к новой красавице и что нужно в свою очередь употребить чары, чтобы разрушить влияние первых. Кормилица научила Алише напоить мужа кофе, которым предварительно нужно было омыть свою левую ногу с известными заклинаниями. Она научила им Алише, и та исполнила все в точности.

Гуссейн навел на дочь, выпил кофе, был неразговорчив, но старался казаться ласковым и обещал Фатьме прислать подарок.

Болезнь Фатьмы оказалась не опасной. После первого же пароксизма началось улучшение, и она, – может быть, именно вследствие посещения отца, после чего Алише стала спокойнее, – начала быстро выздоравливать.

Но тут началась страшная история в гареме.

Тимбек, невидимый для гарема, куда вход ему был, разумеется, запрещен, оказалось, мог слышать и видеть там, где не мог присутствовать. Евнухи ли были у него на откупе, сохранил ли он сношения с поставленной им красавицей, или имел сведения через других жен, но только при его посредстве стала известна Гуссейну история с кофе, и над несчастной головой Алише разразилось страшное обвинение в колдовстве и чародействе.

Первым пострадал главный евнух. Он исчез бесследно. Но гарем знал, что это значило. Его утопили в мешке без всякого суда и следствия. Алише было запрещено выходить из

своих комнат.

Для Фатьмы и ее матери прошли три дня тревожной неизвестности. Эта медленность показалась им странной. Алише просила мужа позволить ей прийти к нему для оправдания. Ей не дали ответа. Фатьма звала отца к себе, он не пришел.

Впоследствии они узнали, что, с тех пор как появился возле Гуссейна Тимбек, прежнее счастье стало изменять Гуссейну. Благодаря постоянной лести Тимбека, он возмечтал слишком много о своей силе и вследствие новой, рассеянной жизни стал пренебрегать делами, всецело доверившись Тимбеку.

В диване[11] высказывалось недовольство Гуссейном. Подати запоздали, и главное – число подарков было сокращено. К Гуссейну пришла грозная бумага, но он, вместо того чтобы смириться, послал дерзкий ответ, не препроводив для умилоствления новых подарков. Вскоре дело повернулось так, что Гуссейна сочли изменником и выслали против него военную силу. Он решил бороться.

История с Алише как раз совпала с тем временем, когда Гуссейн должен был отпра-

виться, чтобы предводительствовать своими отрядами против султанских войск.

Кормилица, пробравшись к арестованной Алише, сообщила ей, что Гуссейн-паша отважился на большое, рискованное дело, что он уезжает, берет с собой Тимбека и откладывает суд над женой до своего возвращения. Результат этого суда предвидеть было нетрудно: Алише, а может быть, и Фатьму ждала участь несчастного евнуха.

Выбора действий не оставалось; единственное спасение заключалось в бегстве.

Ночью Алише и Фатьма, переодетые в евнухов, бежали и благополучно достигли маленькой хижины на окраине города, где жил дальний родственник кормилицы. Две недели они просидели в погребе, боясь показаться на свет Божий. Пищу им подавали через маленькое окошечко. Наконец явилась кормилица, которой удалось захватить драгоценности Алише и Фатьмы. Это давало им возможность отправиться дальше.

В тот же день в городе стало известно, что Гуссейн-паша разбит, что он хотел скрыться, но Тимбек выдал его ради собственного спасе-

ния. Султанские войска приближались к городу, и дальнейшее бегство для жены возмущившегося паши, хотя и опальной, но все-таки жены, стало необходимым более, чем прежде.

Пробравшись за границу, Фатьма и мать очутились совершенно вне тех условий, к которым привыкли, и новая жизнь, совершенно отличная от гаремной замкнутости, испугала их и не понравилась им. Они ехали вперед без цели, сами не зная куда, единственно потому, что каждое место, куда бы они не приехали, было не по ним, совершенно чуждо им, не нравилось, и они, спеша переменить его на новое, забирались все дальше и дальше к чужим, неприятным людям. Впрочем, Фатьма рассказывала, что с ними все-таки обходились ласково, не обижали и по счастливой случайности даже в дороге с ними не происходило опасных приключений.

Так добрались они до Польши, продолжая стремиться вперед, сами не зная куда. Единственный источник их доходов – драгоценные вещи, захваченные кормилицей, исчезал довольно быстро, потому что Алише, плохо

зная цену вещам и деньгам, отдавала их за бесценок. Наконец пережитые в последнее время тревоги окончательно надорвали силы Алише, она слегла и больше уже не вставала.

Тут Фатьма встретила с Лысковым.

В замке барона

— **В**едь вы друг ему... друг? – говорила Фатьма, рассказывая Чагину, беспрестанно путая слова и вставляя то польские, то немецкие, – вы друг... Ну, тогда я скажу... вам только скажу.

И почти с детской наивностью она передала подробности своей любви к Лыскову, рассказала а том, как они встретились, как она почти с первого взгляда почувствовала, что этот человек недаром встретился с нею, как потом... Но все, что происходило потом в душе Фатьмы, было не менее, чем ей, знакомо самому Чагину по его чувству к Соне Арсеньевой.

«Да, да, – думал он, – это всегда так бывает, я знаю это... Знаю...»

И тем не менее он все-таки терпеливо выслушал чистосердечную и милую исповедь девушки, не перебивая ее и стараясь подсказкой помочь ей, когда она затруднялась в выражении.

И понял он ее больше не по рассказу, так как тот был очень сбивчив, а по чувству, жив-

шему в нем и придававшему ему жизнь и смысл.

Время, проведенное под охраной полковой семьи, несмотря на все только что перед тем перенесенное ею горе, было если не самым счастливым, то, во всяком случае, таким, которое давало надежду, что счастье еще возможно впереди, что не все погибло и что она может иметь еще на земле радости.

– Так зачем же вы уехали тогда? – спросил Чагин по-немецки, так как она лучше понимала вопросы на этом языке.

– Зачем? Так нужно было! – ответила Фатьма.

– Как «нужно»? Кто же вас заставил?

– О, меня никто не заставил, я сама...

– Сами? – удивился Чагин. – Вы сами уехали, когда только что говорили, что были счастливы или надеялись быть счастливой?

Фатьма вдруг вскинула на него свои темные, прекрасные, как у газели, глаза и спросила вместо ответа:

– А вы... сами любили?

Слово «любить» во всех формах она произносила по-русски, с трудом преодолевая пер-

вый слог и меняя гласный звук на разные лады, что, впрочем, казалось удивительно милым у нее.

Чагин ответил на вопрос откровенно. Ему даже приятно было сказать именно этой милой, хорошенькой Фатьме, что он любит и счастлив.

– И где та, которую вы любите? – продолжала она.

– Она в Петербурге, в главном городе России, – пояснил Чагин, – там, где я живу, и она живет и ждет меня там.

– И все-таки вы уехали от нее?

– Да, мне нужно было уехать... по делу.

– Ну вот, по делу... Так говорят... И мне нужно было, как вам... И я думала, что он ждет, а он начал думать другое... Он думал, что я люблю человека, который ехал со мной...

И Фатьма, дрогнув всем телом, добавила что-то на своем непонятном для Чагина языке, но, судя по выражению, с каким она это сделала, ее слова должны были заключать в себе чувства, еще большие чем отвращение.

– Кто же был этот человек? – живо спросил

Чагин, потому что они добрались до самого интересного для него места в истории Фатьмы.

– Кто был этот человек, с которым я уехала? – переспросила Фатьма. – Это был «он»...

На этот раз она произнесла это местоимение совсем иначе, чем произносила его, говоря о Лыскове.

– Кто «он»? – удивился Чагин.

И Фатьма, нагнувшись к самому уху Чагина, чуть слышно сказала:

– Тимбек...

Казалось, она боялась произнести само его имя. Она говорила о нем с каким-то суеверным страхом, будто он обладал нечеловеческими способностями ко злу.

Оказалось, он отправился по их следам вскоре после их побега. Две путешествующие турчанки были явлением довольно заметным, и потому Тимбеку нетрудно было, после нескольких усилий, расспросов и поиска их, напасть на их след. Узнал он также, что старая турчанка умерла, а молодая была принята русским полком и отправилась с ним. Найти полк было вовсе уж нетрудно.

Однажды Фатьма гуляла перед отведенным ей на одной из стоянок полка домом, как вдруг к ней весьма почтительно подошел незнакомый человек, одетый европейцем, во все не похожий на турка, и, к удивлению Фатьмы, заговорил с нею на ее родном языке.

Он сказал ей, что ее отец бежал от преследования султанских войск во владения русской государыни, что он в несчастье, простил жену и дочь и зовет их к себе.

Фатьма и хотела, и боялась поверить этому незнакомцу, но он показал ей письмо от отца. Она спросила, как он узнал ее, где он мог ее видеть? Незнакомец ответил, что если бы даже никогда не видел ее, то все-таки нашел бы, потому что знал, что дочь Гуссейн-паши Фатьма самая красивая из женщин на земле, и вот он встретил ее.

Турецкий язык незнакомца, его лесть и письмо от отца подействовали на Фатьму. Она спросила его имя. Он назвал себя Тимбеком.

При этом имени явившееся было в Фатьме доверие исчезло. Но Тимбек словно предугадал это и стал оправдываться перед ней, уве-

рял, что сам он ни в чем не виноват, что действовал лишь, как слуга своего господина, по его приказаниям, не исполнить которые не имел права, и сам боялся гнева Гуссейна. Он говорил, что если и сделал зло ей и ее матери, то это было невольное зло, не зависевшее от него, теперь же он является только посланником, и Фатьма, разумеется, может действовать по своей воле. Если она хочет утешить старика-отца в несчастье, то пусть едет к нему, а если ее жизнь среди неверных дороже, то пусть остается.

Фатьма была тогда уже христианкой, и ей странно было слушать такие слова от человека, который сам был когда-то христианином, и она долго не решалась.

Тимбек сказал ей, что нужно держать в тайне местопребывание отца, что он скрывается под чужим именем и что если это узнают, то его выдадут султану для казни. Поэтому необходимо было, чтобы они отправились тайно и никто из русских не подозревал этого. Потом, повидавшись и переговорив с отцом, Фатьма сможет вернуться и выхлопотать для него, если он пожелает, убежище в

России.

Наконец Тимбек добился того, что убедил Фатьму, и она решилась ехать спасти отца.

Однако она не сомневалась, что Лысков пустится по их следу. Так и случилось. Он настиг их в придорожном трактире. Тут Фатьма хотела призвать его, рассказать ему все, но Тимбек снова начал уговаривать ее держать все в тайне, если она не хочет рисковать головой отца. При этом он поклялся ей, что ее отец близко, что завтра на заре она увидит его и тогда может говорить с Лысковым.

Фатьма взяла свой молитвенник, подчеркнула в нем слова, которые впоследствии нашел Чагин, и поручила трактирщику передать молитвенник Лыскову.

Рано на заре они поднялись. Тимбек все время торопил. Они выехали из трактира и направились по дороге крупной рысью. Через некоторое время они подъехали к стенам каменного замка (Чагину был знаком этот замок). Они вошли в него не через ворота, но через маленькую дверь в стене.

Встретил их сам господин замка (так Фатьма называла барона Кнафтбурга) и пере-

дал Тимбеку мешок с деньгами. На вопрос Фатьмы об отце, Тимбек только рассмеялся.

Тогда Фатьма поняла, что она продана в рабство, по ее понятиям, это выходило так. И действительно, с ней стали обращаться, как с рабыней. Ни слезы ее, ни крики не трогали никого, и никто не являлся ей на помощь. Никто не видел ее и она не видела никого.

Поместили ее в отдаленной глухой части замка, и к ней приходила только старая прислужница немка. Правда, тюрьма ее была оставлена очень хорошо, и кормили ее прекрасно.

Иногда к ней являлся барон, пытался вступить с ней в беседу, но Фатьма чувствовала отвращение к нему, делала вид, что не понимает его слов.

Тогда было поручено старой немке выучить Фатьму по-немецки. Однако уроки оказались затруднительны: Фатьма нарочно представлялась глупее, чем была.

Впоследствии барон стал все реже и реже являться к ней, и наконец наступила та страшная ночь, конец которой был известен Чагину лучше, чем Фатьме.

Приезд в Ригу

Весь переезд до Риги, в продолжение которого Фатьма успела рассказать всю историю Чагину, был совершен ими так скоро, как только это возможно было. По счастью, нигде не встретилось задержки в лошадях, и они прибыли благополучно.

Лысков ждал их в заранее обусловленной гостинице.

– Ну, что ты, как? – спросил его Чагин, входя в приготовленную им комнату.

– Здоровы, хорошо чувствуете себя? – спросил в свою очередь Лысков. – Хорошо, не задержались, я вас сегодня первый день жду. По моим расчетам выходило, что вы сегодня должны приехать.

Лысков казался очень веселым и оживленным. Он хлопотал и суетился, показал отведенную для Фатьмы отдельную комнату, торопил с обедом, рассказывал, что угостит их каким-то рижским сладким пирогом, который удивительно как хорошо делали в гостинице, и говорил почти без умолку.

Чагин несколько раз пытался допроситься

от него сведений о Демпоновском, но он или делал вид, что не слышит вопроса, или отвечал общими, ничего не говорящими фразами.

– Давно ли ты-то приехал сюда? – спросил наконец Чагин, когда они сели за стол.

– Нет, ты вот это попробуй! – перебил Лысков, передавая ему блюдо с очень вкусными на вид сосисками с капустой. – Меня тут каждый день этим кормят. Ты знаешь, если немец за обедом не поел сосисок, то он уверяет, что вовсе не обедал...

Вообще. Лысков словно стал совсем другим человеком. Теперь он уже не стеснялся, открыто улыбался, его глаза блестели, язык развязался и движения сделались быстры. Словом, он совсем ожил.

Фатьма тоже преобразилась. Она не сидела уже с опущенными ресницами, а доверчиво и смело глядела на окружавших ее мужчин, причем ее щеки вспыхивали каждый раз, как она встречалась глазами с Лысковым.

Чагин, видя свою новую неудачу с вопросом относительно Демпоновского, послушно взял себе сосиски и принялся тыкать в них вилкой, но странный тон Лыскова не понра-

вился почему-то ему.

«Что же, он уже считает меня недостойным узнать о деле, что ли?» – невольно подумал он.

– Что, брат, вкусно? – продолжал между тем Лысков. – Ты погоди, ты никогда не едал настоящей немецкой кухни, вот попробуешь. Тут, брат, говядину с вареньем подают, зелень с колбасой... И все вот такими маленькими кусочками...

«И что он все про еду говорит? – подумал опять Чагин. – Очень интересно мне это!.. Или он при Фатьме не хочет рассказывать?.. Но тогда отчего же он не нашел минуты, чтобы нам остаться вдвоем?»

И вдруг он, как ему показалось, понял, почему ему не нравился разговор друга. Конечно, Лысков слишком рад свиданию с Фатьмой, вследствие чего ему и не хочется отпустить ее, хотя бы даже на минуту, и он счастлив, вполне счастлив. И вот это-то счастье и подействовало неприятно на Чагина. Хорошо Лыскову было радоваться и веселиться, когда та, которую он любил, была с ним теперь, и каково теперь ему, Чагину, сидеть и

смотреть на их счастье и не знать, в каком положении дело, от которого зависит во многом его собственная судьба и любовь! Может быть, Лысков вовсе позабыл об этом деле и даже не старался о нем, увлеченный мечтами о своем счастье, и теперь не хочет говорить о Демпоновском просто потому, что ему не хочется думать ни о каких делах, ни о каких заботах и ему решительно безразлично, будут добыты бумаги или нет.

«Да, разумеется, – рассуждал Чагин, – ему безразлично. Вон он сосисками занят и рижским пирогом, а до остального ему и дела нет».

– Слушай, Лысков, – проговорил он вслух, – что же ты, однако, намерен делать? Я серьезно спрашиваю?

Лысков широко, добродушно улыбнулся и весело проговорил:

– А вот вернемся, Бог даст, в Петербург, тогда посмотрим. Венчаться будем в полковой церкви, ты ведь знаешь, между нами, – и он обернулся в сторону Фатьмы, – уже решено... Сейчас дадут шампанского, я велел... А пока мы устроим Фатьму у полкового командира.

Он не откажет мне.

Фатьма, понявшая, в чем дело, покраснела опять и опустила глаза.

Чагину неловко было не разделить радости своего друга, но вместе с тем он боялся, что эта радость повредит делу и тогда не исполнится его собственное заветное желание.

– Я не об этом говорю, – поморщился он, – я тебя который уже раз спрашиваю о деле.

– Все, все будет в свое время! – ответил на этот раз Лысков, но этот ответ казался таким неопределенным, что вовсе не был успокоителем, а, напротив, еще более подтвердил догадки Чагина.

Принесли шампанское. Лысков налил бокалы, и они стали пить за будущее их благополучие, хотя по отношению к себе, по крайней мере, Чагин сильно сомневался в нем.

Глава, пока еще не понятная

Шампанское было выпито, когда в дверь комнаты, где сидели молодые люди, раздался стук, служивший обыкновенным условным знаком для разрешения войти.

– Войдите! – ответил Лысков по-немецки.

Дверь отворилась, и в комнату вошел русский купец, с бородою, в синем армяке нараспашку, из-под которого виднелась красная рубаха с запонкой. По всему было видно, что купец зажиточный.

Лысков оглядел его, подмигнул глазом и оглянулся на Чагина.

– Узнаешь? – спросил он его.

Чагин глядел во все глаза на купца, но узнать его решительно не мог.

– Нет, не узнаю, – ответил он.

– Странно, а это должен быть твой знакомый. Или в Петербурге не встречались?

Чагин много встречал купцов в Петербурге, но решительно ни одного из них не помнил и не мог признать знакомого в этом посетителе.

– Может быть... не знаю, – сказал он и,

встав из-за стола, отошел к окну, удивляясь, зачем Лыскову в Риге понадобился петербургский купец.

«Денег у него занимать собирается, что ли?» – мелькнуло у него.

Фатьма тоже встала и отошла за Чагиным.

– Ну, что, как дела? – спросил у купца Лысков.

– Товар передан, – ответил тот густым басом.

– Передан? – протянул Лысков. – Когда?

– Сегодня.

– Сейчас только? Ты времени не упустил?

– Никак нет.

В голосе Лыскова слышалось беспокойство.

– А другой кто? – спросил он опять.

– Все тот же самый.

Чагина это бесило не на шутку.

– Да что ты, торговлю разве затеваешь? – не утерпел он, чтобы не спросить.

Лысков не ответил ему и обратился снова к купцу:

– Ты наверняка знаешь, что тот же самый?

– Наверняка.

– Ну, хорошо, ступай!

Купец вышел; Чагин слышал, по крайней мере, как скрипнула за ним дверь.

Он стоял, приложив лоб к стеклу окна и не хотел оборачиваться.

«Этакий огромный город, – думал он про Ригу, глядя в окно. – Кого тут найдешь?.. Знает ли Лысков, по крайней мере, где остановился Демпоновский? Дела какие-то затеял тоже... И надо же мне было сплеховать так, что я не могу серьезно потребовать от него объяснений, и не могу потому, что он сейчас может ткнуть, что два раза, мол-де, чуть не испортил, так и не суйся. Ну, хорошо, я смолчу, но только если и у него ничего не выйдет... разумеется, не выйдет... Где же найти тут?»

В это время он вдруг почувствовал, что стоявшая рядом с ним Фатьма крепко схватила его за руку и стиснула, как это может только сделать человек, боящийся упасть.

Он быстро оглянулся. Фатьма стояла вся бледная и свободной рукой указывала в окно.

Чагин глянул туда и увидел, что с противоположной стороны улицы переходил мостовую человек высокого роста, с осанистой, вид-

ной наружностью. Он высоко держал голову, так что отлично можно было разглядеть из окна его усатое, загорелое лицо.

– Это он... он, – прошептала Фатьма.

– Он? – переспросил голос Лыскова, подошедшего тоже к окну. – Слушай, Фатьма, – заговорил он быстро и впервые при Чагине обращаясь к Фатьме на «ты», – слушай, ты наверное не ошибаешься, что этот человек тот самый, который сделал тебе столько зла в твоей жизни; точно это он?

Ясно было по всему выражению Фатьмы, кого она увидела в окно.

Чагин, перед которым в последнее время прошло столько необыкновенных на первый взгляд событий, даже не удивился теперь этой новой случайной встрече. Напротив, при виде взволнованной Фатьмы он почему-то остался совершенно спокоен, как будто ждал и был предупрежден кем-то заранее, что все произойдет именно так.

Впоследствии, когда он, вспоминая всю эту историю, заносил ее на страницы своих записок, он чувствовал, что его правдивая история может показаться нарочно придуманной, но

тогда, когда он переживал лично описанные им события, ему казалось, что это так просто, что иначе и быть не могло. Если он так неожиданно встретил саму Фатьму, отчего же было не встретить им и ее врага, тем более что этот человек, переменявший религию и снова отрекшийся, принадлежал к числу авантюристов, какие часто попадались в среде современников Чагина и постоянно переезжали из города в город.

«Конечно, сия знаменательная встреча, – говорит в записках Чагин, – может показаться неправдоподобной и эфемерной, но кто осмелится судьбе законы предписывать? И мне, скромному свидетелю столь дивных событий, остается лишь ради назидания потомству передать их с полной простотой, сколь доступно сие слабому перу моему».

На вопросы Лыскова Фатьма ответила, что она не ошибается, что она узнала бы из тысячи человек того, кто разлучил ее с ее милым; но убедительными казались не столько слова, сколько то волнение и страх, которые охватили ее всю, когда она увидела переходившего улицу человека.

– Так это точно он? – спросил еіне раз Лысков.

– Да, да! Я боюсь его, – ответила Фатьма.

Лысков задумался на минуту, а затем спросил:

– Хочешь, чтобы этот человек был схвачен и получил наказание за все, что он сделал тебе?

Фатьма молчала.

Генерал-губернатор

После вышеописанного эпизода Фатьма успокоилась не скоро. Лысков вдруг начал выказывать признаки нетерпения и сказал, что ему нужно срочно ехать куда-то, но она просила его остаться, и он не поехал.

Вновь у него на лице появились сосредоточенность и задумчивость. Раза два он выходил из комнаты и возвращался несколько успокоенный.

Наконец Фатьма, уставшая с дороги, пожелала идти спать, хотя так и не дала ответа на предложенный ей Лысковым вопрос об аресте человека, причинившего ей зло, и, протившись, ушла в соседнюю, приготовленную для нее комнату.

У Чагина тоже глаза смыкались, но Лысков продолжал ходить, сосредоточенно куря одну трубку за другой.

Когда Чагин пробовал заговорить, он делал ему «тсс...», махал рукой и прислушивался к тому, что делалось в комнате Фатьмы.

– Ну, кажется, заснула, – проговорил наконец Лысков, – теперь едем.

– Как едем? Куда едем? – удивился Чагин.

– К генерал-губернатору.

– К генерал-губернатору?

– Да.

Лысков взял свой плащ и шляпу. Чагин должен был сделать то же самое.

Уходя, Лысков велел Захарычу остаться в их комнате на случай, если Фатьма спросит, где они.

Было совсем темно, когда они вышли на улицу.

– Послушай, но ведь поздно уже, – заметил Чагин.

– Ну так что же?

– Да ловко ли в такую пору к губернатору? Ты знаешь его? Кто здесь генерал-губернатор?

– Граф Броун.

– Ты незнаком с ним?

– Нет.

– Ну, вот видишь! Как же мы так?

– Очень просто. Вот увидишь.

– Раньше нужно бы было...

– Да ведь ты сам видел, раньше она не пускала... Значит, нужно было выбирать: ее ли тревожить или генерала Броуна. Ну, а ее спо-

койствие мне дороже. Вот и все!.. – и, остановив ехавшего навстречу им извозчика, Лысков сел и велел ехать к генерал-губернатору.

В передней генерал-губернатора очень удивились, когда Чагин с Лысковым появились там в такой поздний час. Сначала прямо заявили, что граф не принимает и что если нужно, то можно завтра утром. Но Лысков остался непреклонен. Он требовал немедленного доклада.

Вызвали дворецкого. Тот тоже упорствовал, заявляя, что граф кончает ужинать и после ужина пойдет спать.

– Ну, милейший, мне тут разговаривать больше некогда! – заявил Лысков. – Если ты не пойдешь сейчас же и не доложишь графу, что его спрашивают двое офицеров из Петербурга по важному делу, то я сам войду без доклада. Понял?

Это убедило наконец дворецкого, и он, проведя незваных гостей в приемную, пошел докладывать о них.

Броун заставил себя ждать. Чагин успел во всех подробностях разглядеть обитый полотном и раскрашенный потолок приемной, на

котором были изображены волны и пловец в какой-то скорлупообразной лодке с надписью «Кормило мое держу твердо», пока наконец за дверью послышались шаги и в комнате появился Броун. Он вошел морщась, как человек, видимо, только что хорошо поужинавший, которому помешали насладиться спокойствием после еды. Он не подал руки и сухо поклонился, глянув так, как будто сказал этим взглядом: «Я отлично знаю, что вы гвардейские офицеры из Петербурга, но это ничуть не мешает вам обходиться со мною с должным генерал-губернатору почтением».

Лысков с Чагиным почтительно поклонились ему. Броун прищурился.

– Вы, государи мои, по делу? Говорите, что по важному делу? Посмотрим! – произнес он.

Лысков, нисколько не смутившийся приемом, смело и ясно ответил, что дело, по которому они беспокоят графа, действительно первостепенной важности.

– Дело идет об аресте одного очень вредного человека, – сказал Лысков. – Этот человек поляк, бежавший в Турцию, отступившийся там от христианства и затем продавший де-

вушку, дочь своего бывшего господина...

Чагин, воображавший, что они явились по делу бумаг Демпоновского, и увидевший теперь свою ошибку, потому что Лысков хлопотал совсем о другом, потупился и нахмурился. Если бы он знал, что Лысков отправляется чуть ли не ночью к Броуну только за тем, чтобы требовать ареста пресловутого Тимбека, то отказался бы ехать с ним.

«Вот как можно голову потерять! – подумал он про своего друга. – Забыл все и только и думал об одном».

– И вы имеете на это солидные доказательства? – спросил Броун.

– Имею.

– А этот человек русский подданный?

– Не знаю, какой он подданный...

– Но, во всяком случае, вы могли бы, государь мой, и завтра явиться, – произнес Броун.

– Завтра рано утром он уезжает.

Броун задумался, а затем наконец проговорил:

– Я подумаю, разберу это дело, но тут нужно быть очень осторожным... Ведь если он не русский подданный...

– Я просил бы, ваше сиятельство, – перебил Лысков, смягчая свою настойчивость тем, что титулует Броуна, – немедленно сделать распоряжение об аресте этого человека.

– Ого, – воскликнул Броун, подняв брови, – вы слишком поспешны, молодой человек!.. Так нельзя.

– Если вашему сиятельству, – спокойно продолжал Лысков, – мало указанных мною причин для ареста, то вот еще одно подтверждение! – и он, вынув из кармана камзола сложенную вчетверо бумагу, подал ее Броуну.

Тот развернул ее, просмотрел и вдруг сделался очень серьезен.

– Да, это другое, дело, – шепотом уже сказал он. – Вы уполномочены перехватить польские бумаги, и если этот человек везет их, то я обязан содействовать вам... Вы говорите, арестовать нужно сейчас же?

– Да, сейчас же, – спокойно ответил Лысков.

– Прошу подождать! – сказал генерал-губернатор и вышел из комнаты.

Объяснение главы тридцатой

Как только Броун вышел, Чагин, весь красный, с налившимися кровью глазами, большими шагами приблизился к Лыскову и схватил его за руку.

– Этого я не ожидал от тебя, – заговорил он, волнуясь и глотая слова, – как? Ты для своих целей, для того, чтобы успокоить ту, которую любишь, решился воспользоваться данным тебе полномочием? Ты мог, ты должен был арестовать Демпоновского, а вместо него забираешь другого, который нужнее тебе по личному делу?.. Этого я не ожидал, извини меня, но я не ожидал...

Лысков, снова прежний невозмутимый Лысков, улыбаясь, смотрел на друга.

– Не кричи так! – сказал он.

– Нет, буду кричать, и мало того, заявлю, скажу, что надо арестовать Демпоновского, а не того, которого ты желаешь схватить... Тебе хорошо, а мне-то каково? Ведь, упустив Демпоновского, я лишаяюсь сам весьма многого... Ты подумал ли хоть об этом, а?..

– Да замолчишь ли ты? – проговорил Лыс-

ков, сложив руки. – Я тебя взял потому, что думал, что ты хоть на этот раз сдержишь условие – слушаться... Два раза чуть не испортил всего, так помни, на этот раз испортишь, поправить нельзя будет.

– Два раза испортил! Ты поймал меня на этом, как будто сам не можешь делать промахов... А тут, брат, очевидно... Нет, как хочешь, я не могу согласиться.

– Да не соглашайся, только не мешай!

– И помешаю... Так нельзя...

– Пойми ты, бумаги больше не у Демпоновского.

– Как не у Демпоновского?

– А так. Они у того человека, в котором Фатьма узнала Тимбека.

– Ты не шутишь?

– Нисколько.

– Постой!.. Откуда же ты знаешь это?

– Откуда? Оттуда, что я слежу за ним с самого приезда в Ригу. Ты видел сегодня у меня купца и не узнал его?

– Ну?

– Ну, этот купец Бондаренко, переодетый.

– Неужели?

– Ага, вот теперь «неужели»? Да, Бондаренко. Я одел его купцом и поместил в той гостинице, где остановился Демпоновский, рядом с номером, который тот занимает. Сегодня Бондаренко пришел и сообщил мне при тебе, что бумаги переданы, а ты ничего не понял.

Все случилось так, как говорил Лысков. Бумаги действительно оказались у самозванца Тимбека, арестованного по причине его прошлых деяний.

Лысков с Чагиным привезли их в Петербург и получили за исполненное поручение должную награду.

Но главная награда состояла для них в том счастье, которое они нашли, женившись каждый по давно сделанному ими выбору.

1

Род извозчичьего экипажа.

[^^^]

2

Я просил вас добыть на следующий день деньги потому, что я спешу уехать, а вы и не подумали об этом. А так как вы дали честное слово, то я и верил... А выходит плохо дело. Теперь я должен завтра обязательно ехать и не знаю, заплатите вы мне или нет...

[^^^]

3

Пообещали овчину, а оказалось только теплое слово. («Мягко постелили, да жестко спать»).

[^^^]

4

Конечно, конечно!

[^^^]

5

А есть у вас что-нибудь поесть?

[^^^]

6

Вот негодяй! Что же у тебя есть?

[^^^]

7

Вы пили старый польский мед – вот это очень крепкая штука!

[^^^]

Господин Лысков.

[^^^]

9

Кто счастлив в любви – несчастлив в картах.

[^^^]

Настоящий джентльмен.

[^^^]

Диван – турецкое государственное учреждение, прежнее название императорского совета.

[^^^]